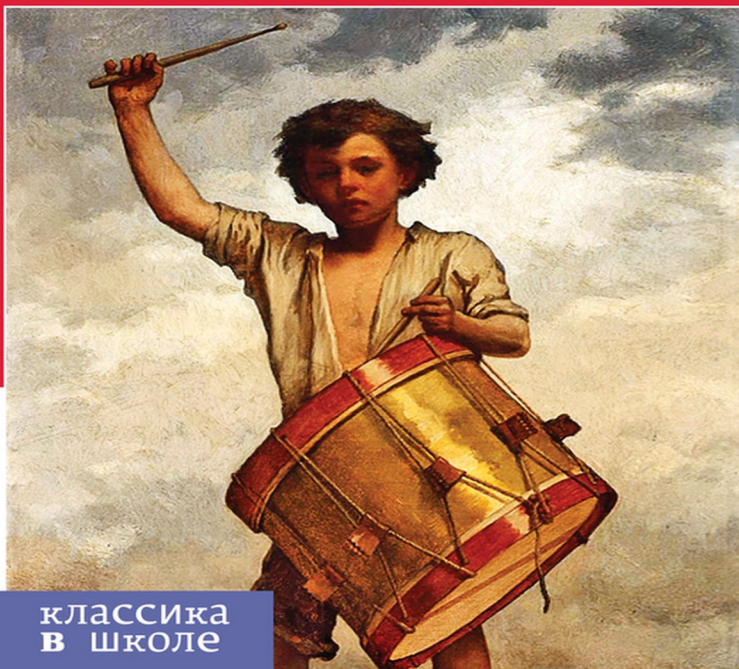
Виктор
**Гюго**

# Гаврош



классика
в школе

# Гаврош
# Виктор Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Гаврош
Гаврош. Из романа «Отверженные»
  Дети Парижа
  Маленький Гаврош
  Гаврош опекает малышей
  В слоне
  Гаврош идет сражаться
  Гаврош на постройке баррикады
  Ночь на баррикаде
  Обстрел баррикады
  Маленький герой
Козетта. Из романа «Отверженные» (избранные главы)
  Книга третья. Исполнение обещания, данного умершей
    Глава 1. Вопрос о водоснабжении в Монфермейле
    Глава 2. Два законченных портрета
    Глава 3. Людям вино, а лошадям вода
    Глава 4. На сцене появляется кукла
    Глава 5. Малютка одна

Глава 6,. которая, быть может, доказывает сообразительность Башки
Глава 7. Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем
Глава 8. Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом
Глава 9. Тенардье за делом
Глава 10. Кто ищет лучшего, может найти худшее
Глава 11. Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею
Книга четвертая. Лачуга Горбо
Глава 1. Хозяин Горбо
Глава 2. Гнездо совы и славки
Глава 3. Слившись, два несчастья дают счастье
Глава 4. Наблюдения главной жилицы
Глава 5. Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон
Книга пятая. Ночная охота с немой сворой
Глава 1. Стратегические ходы
Глава 2. К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки
Глава 3. Смотри план Парижа 1727 года
Глава 4. В поисках спасения
Глава 5. Что было бы немыслимо при газовом

освещении
Глава 6. Начало загадки
Глава 7. Продолжение загадки
Глава 8. Загадка усложняется
Глава 9. Человек с бубенчиком
Глава 10,. в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку
Книга восьмая. Кладбища берут то, что им дают
Глава 1,. где говорится о способе войти в монастырь
Глава 2. Фошлеван в затруднительном положении
Глава 3. Мать Непорочность
Глава 4,. в которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Кастильхо
Глава 5. Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным
Глава 6. Меж четырех досок
Глава 7,. из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»
Глава 8. Удачный допрос
Глава 9. Жизнь в заточении

## Аннотация

«Гаврош» и «Козетта» – отрывки из романа В. Гюго «Отверженные» – изучаются на уроках литературы в 5–7-х классах. В книге даны избранные главы.

# Виктор Гюго
# Гаврош

# Гаврош
# Из романа «Отверженные»

## Дети Парижа

Когда-то, много лет назад, Париж был полон бездомных детей, как лес полон птичек. Птичек зовут воробьями, ребят звали гамеєнами.

Это были мальчуганы от семи до одиннадцати лет. Жили они обычно стайками. Их родители, замученные нищетой и тяжким трудом, не могли, а иногда и не хотели заботиться о них. Но гамены не унывали. Обедали они не каждый день, зато каждый день, если им хотелось, пробирались в театр. На теле у них иногда не бывало рубашки, на ногах — башмаков, над головой не было крыши. Они целыми днями бродили по улицам, ночевали где попало. Одеты они были в старые отцовские штаны, которые волочились по земле. Голову им покрывала чья-нибудь старая шляпа, сползавшая на самый нос.

Чтобы попасть в компанию парижских гаменов, надо было иметь немалые заслуги. Один, например, был в большом почете за то, что видел, как человек свалился с колокольни, другой — за

то, что на его глазах опрокинулся дилижанс[1], третий — потому, что был знаком с солдатом, который чуть не выколол глаза какому-то важному господину.

Крепкие кулаки очень ценились у них. Гамен любил прихвастнуть: «Вон какой я силач, посмотри-ка!» Всякий, кому случалось порезаться очень глубоко, «до кости», считался героем. Левше все очень завидовали. Косоглазый пользовался большим уважением.

У гаменов бывали постоянные стычки с полицейскими, которые устраивали по ночам облавы на маленьких бродяг. Потому-то гамен знал всех полицейских в лицо и по имени. Он изучил их привычки, для каждого подобрал прозвище: «Такой-то — предатель, такой-то — злюка, тот — великан, а тот — чудак. Вот этот воображает, что Новый мост принадлежит ему одному, и не дает человеку гулять по выступу за перилами моста, а тот любит драть людей за уши...»

Парижский гамен бывал почтительным, но бывал и дерзким насмешником. У него были скверные, гнилые зубы, потому что он плохо и мало ел, и хорошие, ясные глаза, потому что он

**[1] Примечания: 1**

Дилижанс — многоместная карета для перевозки почты и пассажиров.

много думал.

## Маленький Гаврош

В те времена на бульваре Тампль можно было часто встретить мальчика лет одиннадцати-двенадцати, настоящего гамена. На нем были длинные мужские штаны и женская кофта. Но штаны были не отцовские, а кофта не материнская. Чужие люди из жалости одели его в эти лохмотья.

А были у него и отец и мать. Но отец о нем не заботился, а мать его не любила, так что его смело можно было назвать сиротой.

Привольно он чувствовал себя только на улице. Это был бледный и болезненный мальчик, но проворный, ловкий, смышленый и большой шутник.

Он постоянно был в движении: бродил, распевая песенки, по улицам, рылся в сточных канавах, воровал понемножку, но легко и весело, как воруют кошки или воробышки, смеялся, когда его называли шалопаем, и сердился, когда его обзывали бродягой.

У него не было ни крова, ни хлеба, некому было пригреть и приласкать его, но он не тужил. Однако, как ни был он заброшен, ему все-таки

иногда приходило в голову: «Пойду повидаю мать». Он расставался с привычными местами, с шумными площадями, бульварами, спускался к набережным, переходил мосты и в конце концов добирался до предместья, населенного беднотой.

Там, в убогой лачуге, жила семья веселого мальчугана. Он приходил, видел вокруг горе и нищету, но что всего печальнее — он не видел здесь ни одной приветливой улыбки; холоден был пустой очаг, и холодны были сердца.

Когда он появлялся, его спрашивали: «Откуда ты?» Он отвечал: «С улицы».

Когда он уходил, его спрашивали: «Куда ты?» — «На улицу», — отвечал он.

А мать кричала ему вслед: «И что тебе здесь было нужно?»

Мальчик жил, не видя любви и заботы, точно бесцветная травка, которая растет в погребах. Он не страдал от этого и никого не винил. Он даже не знал точно, какие должны быть отец и мать.

Мы позабыли сказать, что на бульваре Тампль этого гамена прозвали Гаврош.

## Гаврош опекает малышей

В Париже весной часто выпадают холодные дни, когда можно подумать, что вернулся январь.

В один такой студеный апрельский вечер Гаврош стоял на многолюдной улице, перед ярко освещенной витриной большой парикмахерской, и зябко поеживался. На шее у него был шерстяной платок, неизвестно где подобранный. Казалось, он с восторженным любопытством смотрит, как восковая женская головка, замысловато причесанная и украшенная цветами, поворачивается во все стороны и улыбается прохожим.

На самом же деле Гаврош наблюдал, что происходит внутри парикмахерской, рассчитывая улучить минуту и стянуть с витрины кусок мыла, а потом продать его за несколько су[2] парикмахеру предместья. Ему часто случалось таким способом зарабатывать себе на обед. Он был ловкач в таких делах и называл это «брить брадобрея».

---

**[2] Примечания: 2**

Су — монета в пять сантимов. Сантим — самая мелкая французская монета.

Любуясь восковой красавицей и нацеливаясь на кусок мыла, он бормотал себе под нос:

— Во вторник… нет, не во вторник! А может, во вторник… Да, верно, во вторник!

Он старался припомнить, когда обедал в последний раз. Оказалось, что было это три дня назад.

В светлом и теплом помещении парикмахер брил очередного посетителя, а сам косился на врага, на замерзшего дерзкого мальчишку, который стоял у окна, засунув руки в карманы, и явно замышлял какой-то подвох.

Но вдруг Гаврош увидел, что в парикмахерскую вошли два мальчика меньше его: один лет семи, другой около пяти, оба неплохо одетые. Трудно было разобрать, чего они хотят — оба говорили разом. Младший не переставая плакал, а у старшего от холода стучали зубы. Парикмахер сердито обернулся, вытолкал ребят на улицу, ничего не слушая, и крикнул им вдогонку:

— Шатаются зря, только холоду напускают!

Дети, плача, пошли дальше. Тем временем набежала туча, стал моросить дождь. Гаврош догнал ребят:

— О чем плачете, малыши?

— Нам негде ночевать, — ответил старший.

— Велика беда! — сказал Гаврош. — Стоит из-за такой ерунды плакать! Вот глупышки! — И ласковым, но покровительственным тоном добавил: — Идем со мной, мелюзга.

— Пойдемте, сударь, — ответил старший.

Дети, перестав плакать, доверчиво последовали за Гаврошем. Уходя, Гаврош с возмущением оглянулся на парикмахерскую.

— Бессердечная скотина! — ворчал он. — Сущая змея! Послушай, цирюльник, я позову слесаря и велю нацепить тебе на хвост трещотку.

Парикмахер настроил его на боевой лад. Перепрыгивая через лужу, он увидел старуху с метлой в руках и спросил у нее:

— Сударыня, вы решили покататься на своей лошадке?

И тут же обдал грязью лакированные ботинки прохожего.

— Болван! — злобно крикнул прохожий.

Гаврош высунул нос из платка:

— На кого изволите жаловаться, сударь?

— На тебя! — рявкнул прохожий.

— Контора уже закрыта, жалоб больше не принимаю.

Проходя мимо каких-то ворот, он заметил дрожащую от холода нищенку, девочку лет три-

надцати-четырнадцати.

— Бедняга, она совсем раздета. На вот, возьми! — И, сняв с себя теплый шерстяной платок, он развернул его и набросил на худенькие плечи нищенки.

Девочка с удивлением посмотрела на него и молча приняла подарок. А Гаврош только еще больше съежился от холода. Как раз в это время дождь снова припустил.

— Что за безобразие, опять дождь! — вскричал Гаврош. — Это мне уже не нравится. Ну, наплевать! — добавил он, увидев, как нищенка кутается в платок. — Зато ей будет тепло, она теперь как в шубе.

И он пошел дальше. Дети торопливо семенили вслед за ним.

Проходя мимо булочной, Гаврош обернулся к ребятам:

— Малыши, вы обедали сегодня?

— Сударь, мы с утра ничего не ели, — ответил старший.

— У вас, видно, нет ни отца, ни матери? — тоном взрослого спросил Гаврош.

— Что вы, сударь! У нас есть и мама и папа, только мы не знаем, где они. Мы все ходили по улице, искали чего-нибудь поесть и ничего не

нашли.

— Ну, понятно, — заметил Гаврош, — собаки все подбирают. — И, помолчав, добавил: — Так вы потеряли родителей? Не знаете, куда они девались? Это не годится, ребятки! Глупо терять старших. Ну что ж, надо все-таки чего-нибудь перекусить.

Он больше не стал их расспрашивать. Не иметь крова — для гамена дело обычное.

Гаврош остановился и стал усиленно шарить в карманах своих штанов. Наконец он с торжествующим видом поднял голову:

— Успокойтесь, малыши, сейчас мы отлично поужинаем.

Он выудил из кармана монетку, втолкнул ребят в булочную и, бросив деньги на прилавок, крикнул:

— На пять сантимов хлеба!

Булочник взял в руки нож и каравай хлеба.

— На три части! — скомандовал Гаврош и с достоинством пояснил: — Нас ведь трое.

Булочник, окинув взглядом детей, собрался было дать им черного хлеба, но Гаврош с негодованием крикнул:

— Это что такое?

Булочник вежливо ответил:

— Это хлеб, очень хороший хлеб второго сорта.

— Отрежьте белого, самого лучшего. Я угощаю!

Булочник улыбнулся и стал с любопытством разглядывать компанию.

— Что вы на нас уставились? Думаете, мы маленькие? — обиделся Гаврош.

Когда хлеб был отрезан, Гаврош сказал детям:

— Ну вот, теперь лопайте!

Дети растерянно смотрели на него. Гаврош расхохотался.

— Да, правда, они малы, еще не понимают. — И протянул им хлеб: — Ешьте, пичуги!

Считая, что старший более понятлив и его следует особо ободрить, он протянул ему большой кусок и сказал:

— Ну-ка, раскрой клюв!

Себе он оставил самый маленький кусочек. Все трое были очень голодны и, стоя у двери, жадно уплетали хлеб. Булочник получил деньги и теперь смотрел на них с досадой, потому что они загораживали вход в булочную.

— Пойдем на улицу, — сказал Гаврош.

И они поплелись дальше, по направлению к Бастилии[3]. Когда они проходили мимо ярко

---

**[3] Примечания: 3**

Бастилия — старинная крепость в Париже, в которой при короле была тюрьма для политических заключенных. 14 июля 1789 года она была разрушена восставшим народом.

освещенных магазинов, младший из ребят останавливался и смотрел на висевшие у него на веревочке оловянные часики.

— Вот дурачок! — снисходительно сказал Гаврош. Затем задумчиво пробормотал себе под нос: — Будь это мои ребята, я бы лучше смотрел за ними.

Они шли, медленно дожевывая хлеб. На углу улицы Балле какой-то высокий человек окликнул Гавроша:

— А, это ты, Гаврош? Куда держишь путь?

Гаврош указал на ребят:

— Веду их на ночлег.

— А куда?

— К себе.

— Куда это?

— Да к себе!

— А у тебя есть жилье?

— Конечно!

— Где же?

— В слоне, — ответил Гаврош.

— Как в слоне?

— Да обыкновенно — в слоне. Что ж тут непонятного?

## В слоне

В те времена на площади Бастилии стояло странное сооружение — огромный деревянный слон, оштукатуренный снаружи. На спине у него помещалась башня, напоминающая домик; когда-то она была выкрашена в зеленый цвет, но дожди и непогода перекрасили ее в черный.

Слон стоял в пустынном углу большой площади. Широкий лоб, длинный хобот, клыки, башня на исполинской[4] спине, ноги, похожие на четыре столба, — все это превращало его ночью в страшное, сказочное чудовище.

К этому углу площади, едва освещенному далеким фонарем, Гаврош подвел своих питомцев. Он понимал, что малышей испугает такой великан, и потому сказал:

— Не бойтесь, ребятки!

Сначала он сам прошмыгнул в отверстие решетки, окружавшей слона, а затем втащил детей. Перепуганные ребята покорно и доверчиво следовали за своим оборванным покровителем, который накормил их и обещал им ночлег.

---

**[4] Примечания: 4**
Исполинский — большой, огромный.

Внутри ограды лежала лестница, которой днем пользовались рабочие ближайшей стройки. Гаврош с удивительной для его лет силой поднял ее и приставил к одной из передних ног слона. Как раз в том месте, куда доходила лестница, виднелась черная дыра в брюхе великана. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру.

— Полезайте, — сказал он.

Дети в испуге переглянулись.

— Струсили, малявки! — воскликнул Гаврош. И прибавил: — Ну, смотрите!

Он обхватил руками шероховатую ногу слона и мигом, без всякой лестницы, добрался до отверстия, вполз туда, как уж вползает в щель, и скрылся, а спустя минуту его бледное личико показалось в темной дыре.

— Ну, — кричал он, — ползите скорей, козявки! Увидите, как здесь хорошо! Влезай ты первый, — обратился он к старшему, — я втащу тебя за руки.

Дети жались друг к другу. Они и побаивались Гавроша, и верили ему, а так как дождь превратился в ливень, то старший мальчик набрался наконец храбрости. Когда маленький увидел, что брат полез наверх, а он остался совсем один между лапами громадного зверя, ему стало страшно

и хотелось заплакать, но он не посмел.

Старший неуверенно карабкался по перекладинам лестницы. Гаврош старался ободрить его, покрикивая:

— Не бойся! Вот так! Ну еще! Поставь сюда ногу, крепче держись рукой! Смелей!

Как только мальчик оказался достаточно близко, Гаврош ухватил его за руку и с силой потянул к себе.

— Готово дело! — сказал он.

Мальчуган пролез в отверстие.

— А теперь подожди меня, — сказал Гаврош. — Присаживайтесь, сударь.

Сам он вылез из дыры так же, как влез туда; проворно, точно обезьяна, спустился вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего малыша на руки, поставил его на середину лестницы и стал подниматься за ним, крикнув старшему:

— Я его поддерживаю, а ты тащи!

В одну минуту малыша подняли, подтянули, подтолкнули и втащили в отверстие; он даже пикнуть не успел.

Гаврош влез вслед за ним и отбросил ногой лестницу. Лестница упала на землю. Гаврош захлопал в ладоши и закричал:

— Вот мы и дома! Ура!

Это и был дом Гавроша.

Часто, проходя по площади Бастилии, разряженные господа бросали презрительный взгляд на слона и говорили: «Кому он нужен? Пора снести его». Оказывается, он был нужен для того, чтобы уберечь от дождя, холода, снега, града, защитить от зимнего ветра, избавить от ночлега в грязи и слякоти, от ночлега на снегу маленького мальчика без отца, без матери, без пищи, без одежды, без крова.

Дыра, в которую шмыгнул Гаврош, была почти незаметна снаружи. Она находилась под самым брюхом слона и была так узка, что лазить в нее могли только кошки да дети.

— Прежде всего, — сказал Гаврош, — надо показать, что нас нет дома.

Гаврош нырнул куда-то в темноту; двигался он так уверенно, что видно было — он хорошо знает свое жилище.

Достав откуда-то доску, он закрыл ею дыру. Затем снова исчез во мраке. Дети услышали треск лучины, всунутой в бутылку с раствором фосфата. Настоящих спичек тогда еще не было.

От внезапного света дети зажмурились. Гаврош зажег фитилек, смоченный в смоле. Хотя такая

свеча больше коптила, чем светила, все же при этом огоньке можно было рассмотреть внутренность слона.

Гости Гавроша с удивлением и страхом озирались вокруг.

Поверху над их головами шла длинная темная балка, от нее на некотором расстоянии друг от друга отходили толстые полукруглые переклади-ны; это был как бы позвоночник слона с ребрами. С них свисали отставшая штукатурка и густая паутина.

Младший мальчуган прижался к старшему и прошептал:

— Ой, как темно!

Слова эти возмутили Гавроша. А вид у ребят был такой испуганный, что Гаврош счел нужным пробрать их:

— Это что за новости? Чем вы недовольны? Вам дворец нужен, что ли? Чего кукситесь, поросята вы этакие!

Встряска иногда помогает от страха. Немного успокоившись, дети прижались к Гаврошу.

Он был растроган их доверчивостью и по-отечески ласково обратился к младшему:

— Дурачок, темно на улице, а не здесь; там идет дождь, а здесь дождя нет; там холодно, а здесь ни

ветерка; на улице людно, а здесь нет ни души; там даже луны нет, а здесь горит моя свечка.

Теперь дети уже не с таким страхом оглядывали свой приют.

— Ну, живее! — торопил Гаврош, подталкивая их в дальний угол своей «квартиры», где помещалась его постель.

Постель у Гавроша была самая настоящая, с матрацем, одеялом и пологом.

Матрацем служила соломенная циновка, одеялом — большая, почти новая и очень теплая попона из грубой серой шерсти. А полог был сделан вот как: три длинных шеста, воткнутых в пол, то есть в брюхо слона, были наверху связаны вместе веревкой. На них была натянута сетка из медной проволоки, мастерски укрепленная на всех трех шестах. Тяжелые камни прижимали сетку к полу, так что проникнуть внутрь было невозможно.

Эта сетка была частью проволочной решетки из вольеры[5] в зверинце, и Гаврош спал, точно в клетке.

Гаврош отодвинул несколько камней и приподнял сетку.

---

**[5] Примечания: 5**
Вольера — большая клетка для птиц или животных.

— Ну, малыши, залезайте на четвереньках! — скомандовал он…

Гаврош бережно втолкнул гостей в клетку, влез за ними сам, снова сдвинул камни и наглухо закрыл вход.

Все трое улеглись на циновке. Клетка была низкая. Даже самый маленький из ребят не мог бы встать в ней во весь рост. Гаврош все еще держал в руке свечу.

— Теперь спите, — сказал он, — я тушу свечу.

— Сударь, — спросил старший мальчик, указывая на сетку, — зачем это?

— Это от крыс, — ответил Гаврош деловым тоном. — Спите!

Однако немного погодя он вспомнил, что гости его очень неопытны, и решил объяснить подробнее:

— Это все из зверинца в ботаническом саду. От диких зверей. Там сколько угодно сеток. Надо только вскарабкаться на стенку, влезть в окно и нырнуть под дверь, а там бери что хочешь.

Рассказывая, он успел укутать краем попоны младшего мальчика.

— Ой, как хорошо, как тепло! — пролепетал малыш. Гаврош самодовольно оглядел одеяло:

— Одеяло тоже из ботанического сада. Я взял

его в долг у обезьян.

Показав на толстую, искусно сплетенную циновку, на которой они лежали, он добавил:

— А это я стянул у жирафа.

Немного помолчав, Гаврош продолжал:

— У зверей всего вдоволь. Я и взял у каждого из них понемногу, и они не рассердились. Я им сказал: это нужно слону.

Дети с изумлением и боязливым восторгом смотрели на Гавроша, на этого ловкого и смелого мальчика, такого же бездомного и заброшенного, как они, но в то же время всемогущего.

— Сударь, — робко спросил старший мальчик, — вы, значит, совсем не боитесь полицейских?

— Надо говорить не «полицейский», а «фараон». Так и запомни, молокосос.

Младший мальчик тоже не спал, но не говорил ни слова. Он лежал с краю, и одеяло сползло с него; Гаврош снова заботливо укрыл малыша, а под голову вместо подушки подложил ему всякое тряпье. Затем обратился к старшему:

— Правда, здесь недурно?

— Да, да! — ответил старший, с восхищением глядя на Гавроша.

Бедные ребята озябли и промокли, а теперь

начали согреваться.

— Вот видишь! — сказал Гаврош. — И чего вы, спрашивается, скулили?.. — Указывая на малыша, он добавил: — Ну, такому клопу еще можно похныкать, а тебе, большому, стыдно реветь, ты ведь не теленок.

— Мы не знали, куда нам деваться.

— Послушай, — наставительно продолжал Гаврош, — что бы ни случилось, никогда не скули. Я вас не оставлю. Увидишь, как мы весело заживем. Летом будем ходить купаться в Сене[6]. Потом, есть такой человек-скелет. Он живой, его показывают за деньги. Обязательно пойдем посмотрим на него. Ух, и худющий же он! А потом я сведу вас на представление, в театр. У меня есть знакомые актеры, они мне дают билеты. Я даже сам раз играл в театре. Нас было несколько мальчишек, мы бегали под холстом, делали волны на море. Я вас тоже возьму представлять. Словом, повеселимся вволю.

В эту минуту на палец Гаврошу капнула смола и вернула его к действительности.

— У, черт! — проворчал он. — Так у меня весь фитиль сгорит. А я не могу тратить в месяц боль-

---

**[6] Примечания: 6**

Сена — река, на берегах которой расположен Париж.

ше одного су на освещение. Раз легли, надо спать. Чего доброго, полицейские увидят у нас свет.

— А потом, вдруг искра упадет на солому и спалит весь дом, — робко заметил старший. Он один только и осмеливался разговаривать с Гаврошем.

На дворе разыгралась буря. То и дело громыхал гром, и дождь хлестал по спине слона-исполина. Весенние грозы иногда бывают в Париже при сильном холоде.

— Дудки, — сказал Гаврош, — до нас дождь не доберется! Пусть себе барабанит и поливает ноги моего дома. Зима-дурища злится, что ей нас не достать.

Тут раздался такой удар грома, что малыши вскрикнули, вскочили и чуть было не повалили всю замысловатую постройку. Гаврош обернулся к ним и расхохотался:

— Тише, ребятки! Дом сломаете. А какой гром! Не хуже, чем в театре.

Он поправил сетку, снова уложил детей и приказал:

— Ну, теперь хорошенько завернитесь в одеяло и спите. Я тушу свечку. Готовы?

— Да, — прошептал старший. — Мне очень хорошо, прямо как на перине.

Гаврош натянул им одеяло до самого носа, снова приказал: «Спите!» — и задул свою свечу.

Едва погас свет, как сетка, под которой лежали дети, затряслась, послышался странный шорох, какое-то дребезжание: как будто медную проволоку царапали ногтями и грызли зубами. При этом со всех сторон раздавался визг и писк.

Пятилетний мальчуган, услышав над головой такую возню, задрожал от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но тот уже спал, как приказал ему Гаврош.

Тогда малыш, не помня себя от страха, осмелился тихонько позвать Гавроша:

— Сударь!

— Ну? — спросонья проворчал Гаврош.

— Что это?

— Крысы, — ответил Гаврош и повернулся на другой бок.

А крысы не унимались: они бегали по сетке и старались прогрызть ее.

Малыш от страха не мог уснуть.

— Сударь! — снова окликнул он.

— Ну? — отозвался Гаврош.

— Что это такое — крысы?

— Это мыши!

Такое объяснение немного успокоило мальчи-

ка. Ему случалось видеть белых мышей, и их он не боялся.

— Сударь… — все-таки заговорил он немного погодя.

— Ну?

— Почему у вас нет кошки?

— Была у меня кошка, а они ее сожрали.

Мальчик снова затрясся от страха:

— Сударь!

— Ну?

— Кого сожрали?

— Кошку.

— Кто сожрал?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Потрясенный рассказом про мышей, которые едят кошек, мальчик не унимался:

— Сударь, а нас они не сожрут?

— Не бойся, они сюда не пролезут. Да и я ведь тут. На, возьми меня за руку. Молчи и спи!

Гаврош протянул мальчику руку, и ребенок, прижавшись к его руке, успокоился. Кругом все затихло. Крысы разбежались от звука голосов. Вскоре они вернулись и опять затеяли возню, но мальчики уже ничего не слышали — все трое

крепко спали.

А на дворе по-прежнему бушевала непогода; на пустынной площади было темно; изредка проходил патруль, в поисках бродяг заглядывал во все углы и закоулки, а слон стоял неподвижно и, казалось, был доволен тем, что приютил и обогрел трех бездомных ребят.

Наутро Гаврош рано разбудил малышей, ловко извлек их из брюха слона, кое-как накормил и ушел, доверив их попечению улицы, которая воспитала и его самого. На прощание он сказал им:

— Я улепетываю, ребятки. Если не найдете папы и мамы, приходите вечером сюда. Я накормлю вас и уложу спать.

Однако дети не вернулись. Возможно, их подобрал и отвел в участок полицейский или же они просто затерялись в огромном, шумном Париже. Гаврош их больше не видел. Но часто, почесывая голову, он говорил про себя: «Куда это запропастились мои детки?»

## Гаврош идет сражаться

Весной 1832 года во Франции развернулись важные события. Французский народ — рабочие, ремесленники, весь трудовой люд не мог больше терпеть голод, нужду и притеснения правительства, состоявшего из богачей — корыстных банкиров и фабрикантов. В разных городах страны вспыхивали бунты. Их подавляли, но они немедленно вспыхивали в других местах. Париж тоже готовился к восстанию.

В трактирах и кабачках собирались рабочие, обсуждали события, читали воззвания. Часто слышны были такие разговоры:

— Нас триста человек, — говорил один рабочий, — каждый внесет по десять су, это составит сто пятьдесят франков. На них мы купим пуль и пороха.

— Через две недели нас соберется тысяч двадцать пять, — заявлял другой. — Тогда уж можно помериться силами с правительством.

— Я ночей не сплю, готовлю патроны, — говорил третий.

Революционное настроение все росло. Особенно сильно волновалось рабочее предместье

Парижа — Сент-Антуан.

Это старое предместье, населенное, как муравейник, трудолюбивое, как улей, сердито гудело, ожидая взрыва. Париж напоминал пушку, когда она заряжена: довольно искры, чтобы грянул выстрел.

Наконец желанная минута настала. Город принял грозный вид, на улицы высыпали рабочие. Каждый старался добыть себе оружие. Один спрашивал другого: «Где у тебя пистолет?» — «Спрятан под блузой. А у тебя?» — «Под рубахой».

И вот по улицам и бульварам города потянулись огромные толпы. Тут были рабочие: каменщики, плотники, маляры, наборщики; были студенты и школьники.

Из окон домов и с балконов на них испуганно смотрели буржуа.

Правительство было начеку: в городе и в предместьях стояли его вооруженные войска.

Когда толпа рабочих встретилась с войсками правительства, разразилась буря: полетели камни, послышались ружейные выстрелы, пошли в ход сабли, пистолеты. Толпа рассеялась.

Но тут по всему Парижу прокатился грозный клич: «К оружию!»

Гнев раздувал восстание, как ветер раздувает

огонь.

Толпа разгромила оружейную фабрику на бульваре Сен-Мартен и три оружейные лавки в разных концах города. В несколько минут тысячи рук расхватали сотни ружей, пистолетов и сабель. Храбрые вооружались, трусы прятались.

На набережных, на бульварах рабочие, студенты, ремесленники били фонари, распрягали кареты, вырывали деревья, выкатывали бочки из погребов, громоздили на мостовой булыжники, доски, мебель — словом, строили баррикады. Не прошло и часа, как в городе выросло множество баррикад. К вечеру около трети Парижа оказалось в руках восставших. Купцы спешно запирали свои лавки. Военные патрули расхаживали повсюду, обыскивали и задерживали прохожих. Тюрьмы и полицейские участки были переполнены — там не хватало мест, и многих арестованных оставили ночевать под открытым небом. По городу перекликались сигнальные рожки, слышался бой барабанов, раздавались ружейные выстрелы.

— Чем все это кончится? — дрожа от страха, спрашивали друг друга буржуа.

Надвинулась ночь. Восстание грозным заревом охватило Париж.

После первого столкновения с войсками толпа отхлынула с площади Арсенала и стремительными потоками растекалась по улицам Парижа. По улице Менильмонтан бежал оборванный мальчуган. Он держал в руке ветку цветущего ракитника. Увидев в лавочке старьевщицы пистолет, мальчик отшвырнул ветку, крикнул: «Тетка, одолжи мне эту штуку!» — схватил пистолет и был таков.

Мальчик был Гаврош, он шел сражаться. На бульваре он заметил, что пистолет его без курка.

Однако Гаврош не бросил пистолета и отправился дальше; дойдя до улицы Понт-о-Шу, он заметил, что на всей улице открыта только одна лавка — кондитерская. Понятно, ему очень захотелось съесть пирожок с яблоками, прежде чем ринуться в бой. Но напрасно он шарил в карманах — они оказались пусты. Гаврош проглотил слюну и двинулся дальше, воскликнув: «Вперед — на бой!» При этом он с грустью и укоризной посмотрел на свой пистолет: «Я-то гожусь в бой, а вот ты — не очень!»

По дороге ему попалась та самая парикмахерская, откуда ее достойный владелец недавно выгнал двух малышей, которых Гаврош потом приютил в брюхе слона. Вспомнив бедных ребя-

тишек, Гаврош решил по-своему отблагодарить парикмахера. Не успел тот добрить какого-то буржуа, как раздался страшный грохот: громадный булыжник вдребезги разбил витрину. Парикмахер подбежал к окну и увидел улепетывающего во всю прыть Гавроша.

— Вот негодный озорник! — завопил парикмахер. — Ну подумайте! Что я ему сделал?

На рынке Сен-Жан Гаврош присоединился к толпе рабочих и студентов. Все они были вооружены чем попало. У одного было двуствольное охотничье ружье, у другого — ружье национальной гвардии, а за поясом два пистолета, у третьего — старый мушкет, у четвертого — карабин[7].

Человек, шагавший впереди, размахивал обнаженной саблей. Все они запыхались от быстрой ходьбы, промокли под дождем. Но глаза у них сверкали.

— Куда идти? — спокойно спросил их Гаврош.

— Идем с нами, — ответили ему.

В первом ряду шел человек в красном жилете. Он шагал весело и бодро и, видимо, чувствовал себя как рыба в воде.

Какой-то прохожий, увидев его жилет, закри-

---

**[7] Примечания: 7**

Мушкет и карабин — ружья устаревших систем.

чал в испуге:

— Красные идут!

— Ну, красные так красные! — отвечал рабочий. — Есть чего пугаться!

## Гаврош на постройке баррикады

Отряд вооруженных рабочих и студентов углубился в старинный квартал, где улицы были узки, а дома, разной величины и странной постройки, стояли вкривь и вкось. С улицы Сен-Дени отряд свернул на улицу Шанврери. Улица эта упиралась в тесный переулок, загороженный рядом высоких домов. Казалось, что это тупик, однако по обеим его сторонам имелись проходы.

На левом его углу стоял невысокий двухэтажный дом. В этом доме помещался знаменитый кабачок, где обычно собирались революционеры.

При появлении шумной толпы на улице началась паника. Перепуганные прохожие бросились врассыпную.

Повсюду — направо и налево — закрывались лавки, входные двери, окна, ставни во всех этажах, от самого нижнего до чердака. Открытым остался только вход в кабачок, потому что толпа сразу бросилась туда.

Спустя несколько минут из решеток на окнах кабачка выдернули двадцать железных прутьев, мостовую перед кабачком немедленно разрыли

— камни были нужны для постройки баррикады. Недолго думая опрокинули ехавшую мимо телегу с тремя бочками извести — бочки тоже пригодились для баррикады. На них навалили булыжник, вывороченный из мостовой. Из погреба кабачка выкатили еще несколько пустых бочек. Эти бочки и опрокинутую телегу подперли грудами щебня, который появился неизвестно откуда.

Вскоре половина улицы была перегорожена стеной выше человеческого роста. На перекрестке показался омнибус[8], запряженный парой белых лошадей. Один из рабочих перепрыгнул через груду камней, подбежал к омнибусу, остановил его, высадил пассажиров, вежливо помог выйти женщинам, отпустил кучера и под уздцы привел лошадей вместе с омнибусом к баррикаде. Лошадей сейчас же распрягли и отпустили на свободу, а омнибус свалили набок и загородили им остальную часть улицы.

Веселый, сияющий Гаврош всех воодушевлял — он поспевал повсюду, карабкался вверх, спускался, шумел, суетился, носился как вихрь.

Что подстегивало его? Нужда! Что его окрыляло? Радость!

---

**[8] Примечания: 8**

Омнибус — многоместная карета для перевозки пассажиров.

Он стыдил бездельников, понукал лентяев, ободрял усталых; одних раздражал, других забавлял, но всех одинаково тормошил, всюду сновал и гудел, как назойливая муха, ни на минуту не останавливаясь, ни на минуту не умолкая.

— Живее! Валите булыжник! Еще, еще!.. Катите сюда бочки, давайте сюда мусор — заткнуть дыру. Мала ваша баррикада. Куда она годится! Тащите, валите, катите что попало! Ломайте дом, несите стеклянную дверь!

— Стеклянную дверь? — удивились рабочие. — На что она? Вот дурачок!

— Сами вы дураки! — огрызнулся Гаврош. — Еще как годится стеклянная дверь! Попробуй-ка влезь по ней на баррикаду! Видать, вы не таскали яблок из чужого сада, когда забор утыкан битым стеклом? Пусть только солдаты сунутся к нам — стеклянная дверь срежет им мозоли. Ничего вы, я вижу, не понимаете, товарищи. Стекло — штука предательская.

Он никак не мог успокоиться, что пистолет его без курка, и приставал ко всем:

— Дайте мне ружье! Мне нужно ружье. Почему мне не дают ружья?

— Тебе ружье? — засмеялся один из революционеров.

— Да, мне. А почему мне не дать ружье? — спросил мальчик.

— Когда у всех взрослых будут ружья, тогда дадут и детям, — пожав плечами, сказал другой революционер.

Гаврош гордо повернулся и ответил ему:

— Если тебя убьют раньше, я возьму твое ружье.

Баррикада на улице Шанврери была невысока, хотя защитники могли укрыться за ней, а изнутри можно было взобраться на самый ее верх по сложенным из булыжника ступеням. Груды камней, бочки, которые были соединены балками и досками, просунутыми в колеса телеги, опрокинутый омнибус — все это снаружи придавало баррикаде грозный, неприступный вид.

Между стенами домов и баррикадой оставался узкий проход, в который легко мог пролезть человек, так что выбраться из баррикады было вполне возможно. Дышло омнибуса водрузили на самой верхушке, и красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, развевалось над баррикадой.

Вся работа заняла не больше часа и прошла без всяких помех: ни полиция, ни войска не показывались.

Буржуа, изредка проходившие по улице Сен-

Дени, заглянув на улицу Шанврери и увидев баррикаду, убегали прочь.

Когда баррикада была сооружена и знамя на ней укреплено, из кабачка вытащили стол, и начальник баррикады вскочил на него. Ему принесли ящик с патронами, и он, весело улыбаясь, стал раздавать патроны.

Каждому досталось по тридцать патронов. В запасе имелся еще бочонок с порохом, но его пока не трогали.

Бой барабанов не смолкал по всему городу, но к этому уже привыкли и не обращали на него внимания. Зловещие раскаты барабанной дроби то удалялись, то приближались. Наступили сумерки. Кругом не видно было ни души. Из безмолвного мрака надвигалось что-то грозное.

Защитники баррикады зарядили ружья, распределили посты и стали ждать, исполненные спокойствия, решимости и отваги.

Между тем на баррикаде зажгли большой факел. Для защиты от ветра его с трех сторон обложили булыжником и направили так, что весь свет падал на знамя.

Баррикада и улица были погружены во тьму. Только красное знамя виднелось издали, словно освещенное громадным потайным фонарем.

## Ночь на баррикаде

Настала ночь, но войска не появлялись. Слышался только смутный гул да временами легкая перестрелка, но редкая и отдаленная.

Ясно было, что правительство выигрывает время и накапливает силы. Пятьдесят защитников баррикады поджидали шестидесятитысячное войско правительства.

В нижнем зале кабачка при тусклом свете двух огарков Гаврош изготовлял патроны. С улицы такой свет совсем не был виден, а в верхних этажах вообще не зажигали огня.

В зал вошел высокий человек, держа в руках ружье нового образца.

Гаврош залюбовался ружьем, а потом начал приглядываться и к его владельцу.

Когда тот уселся на стул, мальчик поднялся с места, подошел ближе, на цыпочках обошел вокруг незнакомца и оглядел его со всех сторон, стараясь при этом не шуметь и не привлекать к себе внимания.

«Неужели? Не может быть! Мне это померещилось. А вдруг и правда это он? Да нет же? Ну да, он!» — мысленно восклицал Гаврош, вытяги-

вая шею, как птица. Он был смущен, озадачен, поражен.

Тут как раз к Гаврошу обратился один из революционеров, тот самый, который смеялся над ним, когда он требовал себе ружье.

— Послушай-ка, дружок, ты маленький, тебя не заметят. Выйди за баррикаду, проберись вдоль домов и походи по улицам. Когда вернешься, расскажешь нам, что видел.

— Ага! Значит, и маленькие на что-нибудь годятся, — ехидно заметил Гаврош. — Что же, сейчас пойду. А пока мой вам совет: больше верьте маленьким и меньше большим. — Гаврош понизил голос: — Видите этого долговязого?

— Ну и что же?

— Это шпик!

— Ты уверен?

— Еще бы! Недели две назад он стащил меня за ухо с перил Королевского моста.

Сведения Гавроша оказались верными: после допроса и обыска выяснилось, что человек этот — инспектор полиции. Его обезоружили и привязали к буфетной стойке, скрутив ему за спиной руки. Гаврош присутствовал при всей этой сцене. Подойдя к шпиону, он сказал:

— Оказывается, и мышка может поймать

кошку! Ну, я иду, — добавил Гаврош. — Кстати, оставьте мне его ружье.

И, сделав по-военному под козырек, мальчуган шмыгнул на улицу.

На башне Сен-Мерри пробило десять часов, а кругом по-прежнему было тихо. Двое студентов с ружьями и карабинами в руках сидели молча у лазейки между домами и баррикадой и прислушивались, стараясь уловить самый отдаленный и глухой звук шагов. Вдруг среди жуткой тишины с улицы Сен-Дени донесся звонкий, веселый юный голос. Он распевал на мотив известной народной песенки:

*…У них мундиры синие*
*И сабли на боку.*
*Огонь по линии,*
*Ку-ка-ре-ку!*

— Это Гаврош, — сказал один из студентов.

— Он подает нам знак, — ответил другой.

Торопливый топот нарушил тишину; легко, как акробат, вскарабкался Гаврош на омнибус, спрыгнул внутрь баррикады и, запыхавшись, закричал:

— Где мое ружье? Они идут!

Словно электрический ток пробежал по бар-

рикаде. Слышно было, что все схватились за оружие.

— Хочешь, возьми мой карабин? — спросил один из революционеров.

— Нет, я хочу настоящее ружье, — ответил Гаврош и взял ружье полицейского.

Почти в одно время с Гаврошем на баррикаду вернулись двое часовых с теми же вестями. На посту остался только один часовой, со стороны мостов. Очевидно, там еще было тихо. Все защитники баррикады заняли свои боевые позиции.

Сорок три человека, в том числе и Гаврош, стояли на коленях внутри баррикады. Просунув дула ружей и карабинов в щели между булыжниками, как в бойницы[9], все молча ждали сигнала к бою. Шестеро человек с ружьями на прицел заняли окна в обоих этажах кабачка.

Прошло еще несколько минут.

Наконец послышался мерный тяжелый топот множества ног. Неторопливый, грозный и четкий, он нарастал непрерывно и неумолимо. И вдруг он смолк. Теперь в конце улицы слышалось дыхание большого скопища людей. Однако никого не было видно, только вдали среди густой

---

**[9] Примечания: 9**

Бойница — отверстие в стене для стрельбы.

тьмы смутно мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы. То были штыки и дула ружей, слабо освещенные отблеском факела.

Снова наступила тишина, как будто обе стороны чего-то выжидали. Вдруг из темноты раздался голос, особенно зловещий потому, что казалось — это говорит сама мгла:

— Кто идет?

В ту же минуту послышалось бряцание ружей.

— Французская революция! — ясно и гордо прозвучал ответ начальника баррикады.

— Огонь! — раздалась команда.

Над баррикадой прогремел страшный залп; красное знамя упало. Залп был настолько сильный, что срезал древко. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали в баррикаду и ранили несколько человек.

Начало было грозное, оно заставило призадуматься самых храбрых. Очевидно было, что против баррикады выставлен целый полк.

— Товарищи, — крикнул начальник баррикады, — не тратьте зря порох! Подождем, пока они подойдут ближе. А прежде всего поднимем знамя! — прибавил он.

Он сам подобрал знамя, свалившееся к его

ногам. Снаружи слышался стук шомполов[10]: солдаты снова заряжали ружья.

Гаврош, не покидавший своего поста, заметил, что к баррикаде крадучись приближаются солдаты, и крикнул:

— Берегись!

Но было уже поздно. Раздалась беспорядочная стрельба, солдаты бросились на баррикаду. Вскоре им удалось занять почти две трети ее, но пробираться дальше они не решались, боясь попасть в ловушку. Они заглядывали внутрь темной баррикады, как в логовище льва. Свет факела освещал только их штыки, мохнатые шапки и нерешительные, злые лица.

Многие из осажденных засели у окон второго этажа и чердака, откуда им удобнее было стрелять. Другие, более смелые, бесстрашно стояли у стен домов, напротив солдат, взобравшихся на баррикаду.

Офицер с большими эполетами поднял шпагу и крикнул:

— Сдавайтесь!

— Огонь! — скомандовал начальник баррикады.

---

**[10] Примечания: 10**

Шомпол — железный прут для забивания заряда в ружье и для его чистки.

Одновременно грянули два залпа, и все потонуло в черном, едком дыму. Только слышались слабые стоны раненых и умирающих.

Когда дым рассеялся, стало видно, что ряды солдат и защитников баррикады значительно поредели. Но те, что остались на ногах, не тронулись со своих мест и спокойно заряжали ружья.

Внезапно раздался громкий голос:

— Убирайтесь прочь, не то я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда слышался голос. Начальник баррикады вошел в кабачок, взял там бочонок с порохом и, укрываясь в дыму, наполнившем баррикаду, быстро проскользнул к тому месту, где был укреплен пылающий факел. Он в один миг схватил факел и водрузил на его место бочонок с порохом.

Офицеры и солдаты, застыв от неожиданности, смотрели, как начальник баррикады с выражением отчаянной отваги на гордом лице поднес пылающий факел к бочонку с порохом и громовым голосом крикнул:

— Убирайтесь прочь, не то я взорву баррикаду!

На баррикаде вмиг не стало ни души. Побросав убитых и раненых, нападающие в беспорядке и замешательстве отступили к самому дальнему концу улицы и скрылись в темноте.

Бегство было паническое. Убедившись, что баррикада очищена, защитники ее расставили часовых и принялись перевязывать раненых. Начальник баррикады подозвал Гавроша. Мальчик радостно подбежал к нему.

— Хочешь оказать мне большую услугу?

— Любую! — с готовностью ответил Гаврош.

— Возьми вот это письмо. Уйди сейчас же с баррикады. А завтра утром отнесешь письмо. Тут сказано куда. Это совсем недалеко.

Юный герой почесал за ухом:

— Отнести-то я могу… Но вдруг за это время возьмут баррикаду, а меня не будет?

— Не беспокойся. До рассвета они вряд ли опять пойдут на приступ. А взять баррикаду им удастся только днем.

— Можно мне завтра отнести ваше письмо? — спросил Гаврош.

— Нет, это будет поздно: баррикаду успеют окружить со всех сторон и выйти тебе не удастся.

Возразить было нечего. Огорченный Гаврош постоял несколько минут в нерешительности, снова почесал за ухом, наконец встряхнулся по-птичьи и взял письмо.

— Ладно, будет сделано, — сказал он и бегом помчался выполнять поручение.

Ему пришла в голову счастливая мысль, которую он не решился высказать, опасаясь возражений начальника. Но про себя он решил: «Сейчас около полуночи, улица эта недалеко, я успею отнести письмо и вернусь вовремя».

Гаврош отнес письмо и поспешил назад. Но обратный его путь не обошелся без приключений. Он усердно бил все попадавшиеся ему по дороге фонари, а потом затянул бойкую песенку. Распевая, он на ходу гримасничал, корчил страшные рожи. По этой части его изобретательность была неистощима. Жалко только, что у него не было зрителей и он понапрасну тратил свой талант.

Вдруг Гаврош остановился.

— Прервем наше представление, — сказал он сам себе.

В воротах какого-то дома его зоркий глаз заметил ручную тележку и спавшего на ней человека. Оглобли тележки упирались в мостовую, а голова человека — в край тележки, ноги же его свешивались до земли.

Опытный в житейских делах, Гаврош смекнул, что человек пьян.

«Вот как полезны летние ночи, — подумал Гаврош. — Пьяница заснул в тележке. Тележку заберем для республики, а хозяина ее оставим

монархии. Тележка очень пригодится нашей баррикаде».

Пьяница сладко храпел. Гаврош потянул тихонько тележку в одну сторону, а ее хозяина потянул за ноги в другую; не прошло и минуты, как пьяница по-прежнему невозмутимо храпел уже на мостовой. Тележка была свободна. Гаврош порылся у себя в карманах, нашел клочок бумаги, потом огрызок красного карандаша и написал:

РАСПИСКА

*Твоя тележка получена для нужд Французской республики.*

ГАВРОШ.

Бумажку засунул в карман плисового жилета пьянчуги, сам ухватился обеими руками за оглобли тележки и с победным грохотом понесся рысью по направлению к баррикаде.

Эта затея оказалась небезопасной. Гаврош позабыл, что на его пути находится Королевская типография, а в ней караульный пост, занятый отрядом солдат. Солдаты насторожились: треск разбитых фонарей, переливы звонкой песенки — все это было слишком непривычно для мирных улиц, где жители с заходом солнца отправляются на покой. Уже целый час мальчуган жужжал в

этом тихом квартале, точно муха в банке. Офицер, начальник караула, стал прислушиваться, но, как человек осмотрительный, решил выждать. Грохот тележки окончательно всполошил его, и он отправился на разведку.

— Здесь их целая шайка! — сказал он, осторожно выглядывая из караульни, и тут же лицом к лицу столкнулся с Гаврошем.

Увидя офицера в мундире, в кивере[11] и с ружьем, Гаврош остановился как вкопанный.

— Привет, общественный порядок! — бойко сказал он.

Его смущение длилось недолго.

— Куда идешь, бродяга? — рявкнул офицер.

— Гражданин, — ответил Гаврош, — я ведь не обзывал вас буржуем, за что ж вы-то меня оскорбляете?

— Куда ты идешь, прохвост?

— Сударь, — снова заговорил Гаврош, — возможно, что вчера вы были умным человеком, но нынче утром вас разжаловали.

— Отвечай, куда ты идешь, головорез?

— Вы очень милы, — ответил Гаврош. — Вам никак не дашь ваших лет. Послушайте моего

---

**[11] Примечания: 11**

Кивер — старинный военный головной убор.

совета: продайте свои волосы по сто франков за штуку. Получите пятьсот франков.

— Скажешь ты наконец, куда идешь, разбойник?

— Ой, как вы грубо выражаетесь, генерал!

— К оружию! — заорал офицер.

Гаврош в одну минуту принял мудрое решение. Тележка навлекла на него беду — пусть тележка его и выручает.

Когда офицер начал наступать на Гавроша, мальчик мгновенно превратил тележку в метательный снаряд. Тележка налетела на офицера. Он упал в лужу, а ружье выстрелило в воздух.

На крик начальника из караульни выбежали солдаты, раздался залп, за ним второй и третий…

Пальба вслепую длилась около четверти часа; немало оконных стекол пострадало от нее.

Тем временем Гаврош, отмахав без остановки пять улиц, присел на тумбу отдохнуть. Переводя дух, он прислушался к ружейной трескотне и, повернувшись в ту сторону, откуда она слышалась, показал «нос».

«Ну да! — сейчас же спохватился он. — Я тут насмехаюсь, потешаюсь и забавляюсь, а все-таки с дороги-то я сбился, и придется сделать порядочный крюк. Только бы вовремя поспеть на

баррикаду!» И, затянув свою песню, он вихрем помчался по направлению к баррикаде.

## Обстрел баррикады

Наступил рассвет, но окна и двери оставались закрытыми. Природа проснулась, а люди не подавали признаков жизни. Войска, занимавшие конец улицы Шанврери, были сняты; пусты были и окрестные улицы. Особенно страшным казалось это безлюдье при ярком свете дня.

Не видно было ни души. Зато слышны были какие-то неясные звуки. Где-то вдалеке происходило таинственное движение. Очевидно, приближалась решительная минута. Как и накануне вечером, часовые покинули свои посты и вернулись на баррикаду.

После первого штурма баррикаду успели привести в порядок и еще лучше укрепили ее.

В той стороне, откуда ждали нападения, мало-помалу воцарилась зловещая тишина.

Начальник баррикады дал приказ занять боевые посты. Сразу же смолкли все разговоры. Теперь был слышен только сухой треск — это заряжали ружья.

Ждать пришлось недолго. Звяканье цепей, лязг металла о мостовую, глухой и грозный гул — все возвещало приближение артиллерии.

Вскоре показалась первая пушка. Зажженный фитиль дымился.

— Огонь! — скомандовал начальник баррикады.

Раздался дружный залп. Дым густой лавиной окутал людей и пушку; через несколько секунд дым рассеялся, снова стали видны и люди и пушка. Канониры[12] спокойно и неторопливо устанавливали ее перед баррикадой.

— Зарядите ружья! — скомандовал начальник.

В то время как защитники баррикады перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку. Пушка выпалила, раздался грохот.

— Здесь! — прозвучал веселый возглас.

И одновременно с ядром на баррикаду влетел Гаврош. Он произвел больше впечатления, чем пушечное ядро. Оно только разбило колесо омнибуса и доломало старую телегу, а само застряло в груде обломков. На баррикаде рассмеялись.

— Отлично, продолжайте! — крикнул один из рабочих артиллеристам.

Все обступили Гавроша. Но начальник не дал ему сказать ни слова и отвел его в сторону:

— Зачем ты сюда явился?

---

**[12] Примечания: 12**
Канониры — артиллеристы.

— За тем же, зачем и вы! — как всегда задорно, ответил мальчуган, и глаза его сверкнули веселой удалью.

— Кто тебе позволил вернуться? — строгим голосом продолжал начальник. — А письмо ты отнес по адресу?

— Гражданин, я отдал письмо привратнику. Он обещал передать.

Отправляя письмо, начальник преследовал двойную цель: он хотел послать прощальный привет своей невесте и спасти Гавроша. Пришлось примириться с тем, что выполнена только половина его намерения.

Меж тем Гаврош успел шмыгнуть на другой конец баррикады.

— Где мое ружье? — крикнул он.

Ему отдали его ружье. Тогда Гаврош сообщил товарищам, что баррикада окружена со всех сторон.

— Прошу вас задать им перцу.

Начальник, стоя у своей бойницы, сосредоточенно вслушивался.

— Пригнитесь, прижмитесь к стене. Станьте на колени вдоль баррикады! — приказал он.

Защитники баррикады, покинувшие свои боевые посты при появлении Гавроша, друж-

но бросились к баррикаде, но раньше чем они успели выполнить приказ начальника, раздался вой картечи. Выстрел был направлен на выход с баррикады и рикошетом попал в стену. Двоих убило, а трех человек ранило. При таком обстреле баррикада не могла долго устоять.

Обстрел продолжался. Ружейные залпы чередовались с картечью. Солнце уже высоко стояло в небе. Как раз в это время артиллеристы подкатили вторую пушку и поставили ее рядом с первой. Это предвещало близкую развязку.

Через несколько минут оба орудия открыли стрельбу прямой наводкой по баррикаде; артиллерию поддерживал ружейный огонь пехоты.

— Надо во что бы то ни стало утихомирить их пушки, — сказал начальник и скомандовал: — Огонь по артиллеристам!

Все давно стояли наготове. Баррикада с ожесточенным рвением принялась палить по артиллеристам. Один за другим последовали семь или восемь залпов; улицу сплошь заволокло густым дымом. Когда же через несколько минут огненный туман чуть-чуть рассеялся, обнаружилось, что две трети артиллеристов лежат под колесами пушек.

Оставшиеся в живых артиллеристы продол-

жали обслуживать орудия, но стрельба стала значительно реже.

— Здорово! — сказал один из студентов. — Блестящий успех!

Начальник покачал головой:

— Еще четверть часа такого успеха — и на баррикаде совсем не останется патронов.

Должно быть, Гаврош услышал эти слова.

## Маленький герой

На баррикаде вдруг заметили, что Гаврош стоит на улице прямо под выстрелами.

Гаврош взял в кабачке корзинку для бутылок, вышел через лазейку за баррикаду и преспокойно принялся высыпать в корзину патроны из патронташей убитых солдат.

— Что ты делаешь? — закричали мальчику с баррикады.

Гаврош поднял голову:

— Наполняю корзинку, граждане.

— Ты что, не видишь картечи?

— Вижу, дождик идет! Ну и пусть его идет! — ответил мальчик.

— Сейчас же вернись, слышишь! — кричал начальник.

— Сию минуту! — отвечал Гаврош и в один миг очутился на середине улицы.

Десятка два убитых лежало вдоль всей улицы на мостовой. Два десятка патронташей — хорошая пожива для Гавроша, солидный запас патронов для баррикады.

Все кругом было застлано дымом, точно густым туманом. Дым рассеивался и снова сгущался. От

него среди белого дня стояла мгла, и противникам с одного конца короткой улицы до другого почти не было видно друг друга.

Эта темнота была на руку Гаврошу. Дымовая завеса и маленький рост позволили ему пробраться незамеченным довольно далеко. Первые шесть или семь патронташей он опорожнил, почти не подвергаясь опасности. Он полз на животе, передвигался на четвереньках, держа корзинку в зубах, скользил, извивался, как змея, крался от одного мертвеца к другому и продолжал наполнять корзинку патронами.

От баррикады он был еще недалеко, но никто не решался его звать — из страха привлечь к нему внимание солдат.

А он пробирался все дальше и дальше и дополз до места, где дым уже рассеялся.

Солдаты, залегшие за стеной из булыжника, и те, что сгрудились на углу улицы, заметили какую-то точку, передвигавшуюся в дыму.

В то мгновение, когда Гаврош очищал патронташ лежащего у тумбы убитого сержанта, в труп попала пуля.

— Что за черт! — воскликнул Гаврош. — Моих покойников убивают!

Вторая пуля выбила искры из мостовой подле

него, а третья опрокинула его корзинку.

Гаврош огляделся и увидел, что стреляют с перекрестка. Он встал, выпрямился во весь рост, тряхнул головой и, устремив насмешливый взгляд на стрелявших в него солдат, весело и задорно запел песенку. Затем поднял корзинку, собрал все выпавшие патроны и, подойдя ближе к стрелкам, стал опоражнивать еще один патронташ. Мимо прожужжала четвертая пуля, а Гаврош продолжал петь. И на пятую он ответил песенкой.

Зрелище было страшное и прекрасное. Гаврош стоял под выстрелами и дразнил стрелявших. Казалось, он развлекается от души. Это был воробышек, клевавший охотников. На каждый выстрел он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и не могли попасть. Солдаты смеялись, стреляя в него. Он ложился, вскакивал, прятался где-нибудь в подворотне, появлялся вновь, убегал, прибегал, смеялся над картечью, показывал «длинный нос», а попутно опустошал патронташи и собирал патроны. Товарищи, дрожа от страха, следили за ним с баррикады, а он все пел. Пули гнались за ним, но он был проворнее их.

Он играл в прятки со смертью.

Но вот одна пуля, меткая и коварная, настигла храброго мальчугана. Гаврош зашатался и упал. С баррикады раздался крик ужаса. Гаврош приподнялся, тонкая струйка крови стекала по его лицу. Он поднял обе руки кверху, взглянул в ту сторону, откуда раздался выстрел, и снова запел. Но кончить куплет ему не удалось: вторая пуля навеки оборвала его песенку. На этот раз он упал лицом на мостовую и затих.

Маленький мальчик и большой герой был убит.

# Козетта
# Из романа «Отверженные» (избранные главы)

# Книга третья
# Исполнение обещания, данного умершей
## Глава 1
## Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням — и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушед-

шие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие еще не набрели на нее. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.

За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за

ней сам или обходиться без воды до утра.

Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель, быть может, не забыл, — для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардье по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживленно. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было еще ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопеков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося

шумную и веселую струю жизни в эту глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Caracara Polyborus; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трехцветная кокарда — исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.

В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардье. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два

модных в ту пору среди горожан предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узорчатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:

— Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, — кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. — Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? — В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. — Стало быть, это совсем слабое вино? — У них вина еще послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т. д.

Потом слышались выкрики мельника:

— Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копаться с ними нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь,

и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.

В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

— Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но все одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одетая в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились

смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонина и Азельма.

В углу, возле печи, на гвозде висела плеть.

Порой пронзительный плач ребенка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, — говорила она, — вероятно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». — «А ну его! Надоел он мне!» — отвечала мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

## Глава 2
## Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардье приближалась к сорока

годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил еще некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардье. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала все по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала — одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке голоса Тенардье: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был настоящий крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Эта Тенардье

являлась как бы сочетанием рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, — с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой — старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный

мошенник. Мошенник-философ. Подобного рода разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду — прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.

Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже — французом, в Брюсселе — бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечет за собой

неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей — муж, жена и дети — в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, не представляли все же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.

В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснобай и выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в

них иногда орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид — наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что при случае Тенардье не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.

Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардье, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был ее супруг. Она исполняла, он придумывал. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт повиновался. Для жены Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если б и возникло у нее какое-либо разногласие с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушие

их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардье своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные — она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была ужасным существом; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина — тот был поглощен только одной мыслью: разбогатеть.

Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для

круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.

Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году Тенардье имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных — предметом торговли, — иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, — толковал он ей однажды

яростным шепотом, — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, — омерзительный и ужасный союз.

В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти — в

этом виновата была жена; она ходила зимой босая — в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.

Бедный ребенок терпел все и молчал.

Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?

## Глава 3
## Людям вино, а лошадям вода

Приехали еще четыре новых путешественника.

Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной

задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

— Вот тебе и на! — проговорила хозяйка. — Воды больше нет! — и помолчала.

Девочка затаила дыхание.

— Ба! — продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. — Хватит и этого.

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа еще чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:

— Почему моя лошадь не поена?

— Как не поена? Ее поили, — ответила Тенардье.

— А я вам говорю нет, хозяйка! — возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

— О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

— Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! — воскликнул торговец. — Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки отлично знаю.

Козетта настаивала на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

— Пила, даже вволю пила.

— Хватит! — гневно возразил торговец. — Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!

Козетта залезла обратно под стол.

— Что верно, то верно, — сказала трактирщица, — если скотина не поена, то ее следует напоить.

Она огляделась по сторонам:

— А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.

— Ну-ка вылезай! — крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

— Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!

— Но, сударыня, — робко возразила Козетта, —

ведь больше нет воды.

Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:

— Так беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла бы свободно поместиться в нем.

Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, отведала ее и проворчала:

— Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

— На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в этот карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

— Ну, пошла живей! — крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

## Глава 4
## На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше

десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла — сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела,

тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели еще куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим господом богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

— Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! — кричала Тенардье, которая, выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

## Глава 5
## Малютка одна

Харчевня Тенардье находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопеков и вблизи церкви, ее путь освещали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы громыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял ее одиночество.

Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! — сказала она. — Да это Жаворонок!»

Таким образом, Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи — то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Однако по мере того как она подвигалась вперед, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома,

Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! — воскликнула она. — Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь представилась ей тетка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди — призрак хозяйки, позади — все духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к

роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыданья.

Ночной шум леса охватил ее со всех сторон. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой — пылинка.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.

Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с ти-

хим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.

Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей ей надо было отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.

Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Над ее головой небо было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими дымные

полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную, неведомую ей звезду, которая пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.

Холодный ветер дул с равнины. Мрачен был лес, не шелестели в нем листья, и не брезжил там тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Сухой вереск, гонимый ветром, быстро пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.

От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами

тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью один не проходит по лесу без страха. Тени и деревья — два опасных сгустка темноты. Призрачная действительность возникает в смутной глуби. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве — или в собственном мозгу — проплывает нечто смутное и неуловимое, словно грезы задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно, и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи — отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное покачивание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, — против всего этого чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение

во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса — обители тайны и ужаса, и трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает этот безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что, наверно, она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею — бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее

взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была боязнь перед хозяйкой, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватилась обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелым, она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватилась за дужку. На этот раз она шла дольше, но пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понурив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; от времени до времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в глубине леса, зимней ночью, вдали от людского взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это раздирающее душу зрелище.

Видела это, конечно, и мать ее, увы!

Ибо в мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания сжимали ей горло, но плакать она

не смела, так сильно боялась она своей хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Однако, идя очень медленно, она мало подвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время своих стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардье опять прибьет ее. Эта тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Достигнув знакомого ей старого каштанового дерева, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, и, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит преду-

преждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

## Глава 6, которая, быть может, доказывает сообразительность Башки

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как по своей одежде, так и по всему своему облику он воплощал тот тип, который можно назвать благородным нищим. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью — довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто столь беден и столь полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток рединготот из грубого

темно-желтого сукна — этот цвет не казался в те времена слишком странным, — закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, по морщинистому лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, сквозившей во всех движениях, ему не дали бы и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он нес маленький сверток, завязанный в носовой платок, а правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно отделана и не казалась слишком грубой: сучки были обрублены, а набалдашник сделан из красного сургуча — под коралл. Это была дубинка, но каза-

лась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы, и стенные. Они говорили: «Уже два часа — вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие отходили в сторону, ибо проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило даже известное впечатление. Это было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; не в силах ходить, он хотел мчаться; этот хромой человек охотно бы взнуздал молнию. Он проезжал, спокойный и суровый, среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с

грохотом. Люди лишь мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, крепкое, румяное лицо, свеженапудренные волосы с взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисающей на штатское платье, орден Золотого руна, крест Святого Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Св. Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, надевал ее, редко отвечая на приветствия. Холодно глядел он на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то весь успех, который он там стяжал, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не

подозревал об этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству: «Вот довольно подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и так как уж начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции, графа Англеса.

Сбив с толку полицейского, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но не раз еще оглядывался, желая убедиться, что за ним никто не следует. В четверть пятого, то есть когда уже стало совсем темно, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещенная театраль-

ными фонарями, видимо, поразила его: хотя он и шел торопливо, однако остановился прочитать ее. Спустя мгновение он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана.

Пешеход спросил:

— Есть свободное место?

— Только одно, рядом со мной, на козлах, — ответил кучер.

— Я беру его.

— Садитесь.

Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал плату вперед.

— Вы едете до Ланьи? — спросил кучер.

— Да, — ответил человек.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать своих лошадей.

Он закутался в свой плащ. Было холодно. Но пассажир, казалось, не замечал ничего. Таким образом проехали Гурне и Нельи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

— Я сойду здесь, — сказал пассажир.

Он взял свой сверток и палку и соскочил с дилижанса.

Минуту спустя он пропал из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова тронулся в путь, держа на Ланьи, то не повстречал этого человека и на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

— Этот человек не здешний, я не знаю его, — сказал он. — У него такой вид, точно он без гроша в кармане, а между тем он не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты в домах, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, а торопливо шагал в темноте по главной улице Шеля,

потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как будто он очень хорошо знал его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстро пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, окаймленное деревьями шоссе, ведущее из Ганьи в Ланьи, он услыхал шаги прохожих. Поспешив укрыться во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Лишь две или три звезды светились на небе.

Именно в этом месте и начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял направо, пересек поля и быстрым шагом дошел до леса.

Оказавшись в лесу, он замедлил шаги и стал внимательно присматриваться к каждому дереву, медленно подвигаясь вперед, словно искал что-то, и держался таинственной, ему одному известной дороги. Было мгновение, когда ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался он до прогалины, где лежала груда больших, белевших в темноте камней. Поспешно подойдя к ним, он окинул их внимательным

взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к этому дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева — это был ясень — рос каштан, болевший отпаданием коры. К нему взамен повязки была прибита полоска цинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до этой цинковой полоски.

Затем он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрытой.

Сделав это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес.

Это и был тот самый человек, который только что встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь лесную поросль по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее вновь и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была совсем маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он тут же очу-

тился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

## Глава 7
## Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась. Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

— Дитя мое, твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

— Да, сударь.

— Дай мне, — сказал он, — я понесу.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

— Это действительно очень тяжело, — пробормотал он сквозь зубы. Потом спросил: — Сколько тебе лет, малютка?

— Восемь лет, сударь.

— И ты идешь издалека?

— От ручья, который в лесу.

— А далеко тебе еще идти?

— Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:

— Значит, у тебя нет матери?

— Я не знаю, — ответила девочка. И прежде чем он успел вновь заговорить, она добавила: — Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. — И помолчав, продолжала: — Наверно, никогда и не было.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи ребенка, стараясь в темноте разглядеть лицо.

Худенькое и жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете неба.

— Как тебя зовут?

— Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял свои руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал вперед.

Спустя мгновение он спросил:

— Где ты живешь, малютка?

— В Монфермейле, — может, вы знаете, где это?

— Мы идем туда?

— Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

— Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

— Госпожа Тенардье.

Незнакомец продолжал голосом, которому силился придать равнодушие, но который, однако, странно дрожал:

— А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается?

— Она моя хозяйка, — ответил ребенок. — Она содержит постоялый двор.

— Постоялый двор? — переспросил путник. — Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.

— А мы туда идем, — ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на чувство радости и надежды, обращенное к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

— Разве у госпожи Тенардье нет служанки?

— Нет, сударь.

— Разве ты у нее одна?

— Да, сударь.

Вновь наступило молчание. Потом Козетта сказала:

— Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

— Какие маленькие девочки?

— Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

— Кто же это Понина и Зельма?

— Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто ее дочери.

— А что же они делают?

— О! — воскликнул ребенок. — У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

— Весь день?

— Да, сударь.

— А ты?

— А я работаю.

— Весь день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

— Да, сударь. — С минуту помолчав, Козетта добавила: — Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

— Как же ты играешь?

— Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла их куклами. У меня есть только оловянная сабелька, вот такой длины. — И девочка показала на мизинец.

— Ею ничего нельзя резать?

— Можно, сударь, — ответила девочка, — например, салат и головы мухам.

Они дошли до деревни; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее и хранил теперь мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

— Тут что же, ярмарка?

— Нет, сударь, это Рождество.

Когда они подходили уже к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки:

— Сударь.

— Да, дитя мое?

— Вот мы уже совсем близко от дома.

— И что же?

— Можно мне теперь у вас взять ведро?

— Зачем?

— Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

## Глава 8
## Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем она постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица, держа в руке свечу.

— А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

— Сударыня, — сказала, задрожав, Козетта, — вот господин, который хотел бы переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой — это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, желая разглядеть вновь прибывшего.

— Это вы, сударь?

— Да, сударыня, — ответил человек, притронувшись рукой к шляпе.

Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также осмотр одежды и багажа путешественника, который бегло произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, снова сменившуюся угрюмым выражением. Она сухо произнесла:

— Входите, милейший.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особенное внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в подобном случае обозначает: «голь перекатная». Тогда трактирщица воскликнула:

— Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

— Поместите меня, куда вам будет угодно — на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, — сказал путник.

— Сорок су.

— Сорок су? Ладно.

— В добрый час.

— Сорок су! — шепнул один из возчиков кабатчице. — Но ведь комната стоит только двадцать су.

— А с него сорок, — ответила она тоже шепотом. — Дешевле я не беру с бедняков.

— Правильно, — кротким голосом заметил ее муж, — пускать к себе такой народ — только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью свой узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды для своей лошади, отправился сам напоить ее. Козетта опять уселась на обычное место под кухонным столом и взялась за свое вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив из стакана, с каким-то странным вниманием разглядывал ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливой, она была бы миловидной. Мы уже набросали в общих чертах этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез.

Уголки ее рта были опущены с тем выражением привычного страданья, которое наблюдаешь у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». Огонь, освещавший Козетту в это мгновение, выдавал ее резко выступающие кости и подчеркивал ее ужасную худобу. Так как ее постоянно знобило, то у нее образовалась привычка тесно сжимать колени. Вся ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала лишь дырявая холстина; ни лоскутка шерсти. Там и сям просвечивало тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна — следы прикосновения хозяйской длани. Голые тонкие ножки покраснели от холода. Глубокие впадины над ключицами были жалостны до слез. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест — все выражало и обличало лишь одно: страх.

Козетта была вся проникнута этим страхом, он ее как бы окутывал. Страх вынуждал ее тесно прижимать к себе локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так вы-

разиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков притаился ужас.

Этот страх был так велик, что, возвратясь домой совершенно измокшей, Козетта не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько уселась за свою работу.

Взгляд этого восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные мгновения казалось, что она на пути к слабоумию или к помешательству.

Никогда, мы уже упоминали об этом, не знала она, что такое молитва, никогда не переступала порога церкви. «Разве у меня есть для этого время?» — говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

— Постой! А хлеб где?

Козетта, как всегда, стоило только хозяйке повысить голос, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла об этом хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала:

— Сударыня, булочная была уже заперта.

— Надо было постучаться.

— Я стучалась, сударыня.

— Ну и что же?

— Мне не отперли.

— Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, — сказала Тенардье, — и если ты соврала, то попляшешь у меня как следует. А покамест дай-ка сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки в пятнадцать су там не было.

— Ну, — крикнула трактирщица, — ты оглохла, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Но куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.

— Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? — прохрипела Тенардье. — А может, ты вздумала их у меня украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы, она закричала: «Простите! Простите! Я больше не буду!»

Тенардье сняла плеть.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили,

играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

— Виноват, сударыня, — вмешался неизвестный, — я сейчас видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилось по полу. Не эти ли деньги?

Он тут же наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

— Так и есть, вот она, — сказал он, выпрямляясь.

И он протянул тетке Тенардье серебряную монетку.

— Та самая! — воскликнула тетка Тенардье.

Отнюдь не «та самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им

выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.

— Ну как, вы будете ужинать? — спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

— Кто он, этот человек? — процедила она сквозь зубы. — Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову украсть деньги, валявшиеся на полу.

Тут открылась дверь, и вошли Эпонина и Азельма.

Это были две прехорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, очень миленькие, одна — с блестящими каштановыми косичками вокруг головы, другая — с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет.

Сверх того они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливым, но полным обожания голосом: «А, вот, наконец, и вы пожаловали!»

Притянув поочередно каждую к себе на колени, она пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила, воскликнув: «Нечего сказать, хороши!»

Девочки уселись в углу, возле очага. В руках они держали куклу, которую тормошили на все лады, укладывая ее то у одной, то у другой на коленях, и весело щебетали. От времени до времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам всем вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны — зависть, с другой — пренебрежение.

Кукла сестер Тенардье была совсем полинявшая, совсем старая и вся поломанная, но тем не менее она казалась Козетте восхитительной: ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей

куклы, — употребляя выражение, понятное для всех детей.

Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

— А вот я тебя и поймала! — закричала она. — Так-то ты работаешь? Погоди, вот возьму плетку, она-то уж заставит тебя поработать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

— Сударыня, — промолвил он, улыбаясь почти робко, — чего уж там, пусть ее поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был подобный рединготм, смел бы выражать свою волю, — этого трактирщица допустить не могла. Она резко возразила:

— Девчонка должна работать, раз она ест мой хлеб. Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

— А что же это она делает? — спросил незнакомец мягким голосом, странно противоречившим его нищенской одежде и широким плечам носильщика.

Трактирщица снизошла до ответа:

— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Прежние, можно сказать, все износились, и дети скоро останутся совсем босыми.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

— А когда же она окончит эту пару?

— Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре, этакая лентяйка!

— И сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

— Не меньше тридцати су.

— А уступили бы вы их за пять франков? — снова спросил человек.

— Черт возьми! — грубо засмеявшись, вскричал один возчик, слышавший этот разговор. — Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардье решил, что пора вмешаться в

разговор.

— Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам.

— Но денежки на стол! — резко и решительно заявила его супруга.

— Я покупаю эти чулки, — ответил незнакомец, затем, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: — И плачу за них. — Потом он повернулся к Козетте: — Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

— И вправду, гляди-ка! — воскликнул он. — Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

— Сударыня, это правда? Я могу поиграть?

— Играй! — бешеным голосом ответила тетка Тенардье.

— Спасибо, сударыня, — ответила Козетта.

И в то время как ее уста благодарили хозяйку, вся ее маленькая душа возносила благодарность приезжему.

Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

— Кем он может быть, этот желтый человек?

— Мне приходилось встречать миллионеров, — величественно ответил Тенардье, — которые носили такие же рединготы.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади нее, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Они только что успешно завершили очень ответственное дело — завладели кошкой. Бросив на пол куклу, Эпонина, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой серьезной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, лишь только хочешь его

запечатлеть.

— Знаешь, сестричка, эта вот кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду дама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты понемножку увидишь ее усики и удивишься. А потом ты увидишь ее ушки, а потом ты увидишь ее хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «О боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпонину.

Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпонина пеленали котенка, Козетта пеленала свою саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла — одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов в девочке. Лелеять, наряжать, украшать, одевать,

раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто — есть некто, — в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, заготовляя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платьица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка — в девушку, девушка — в женщину. Первый ребенок — последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тем временем тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, — решила она, — может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

— Сударь… — сказала она.

При слове «сударь» мужчина обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».

— Видите ли, сударь, — продолжала она со своей слащавой вежливостью, которая была еще неприятней, чем ее грубость, — мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я не возражаю,

если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

— Значит, это не ваш ребенок? — спросил человек.

— Бог с вами, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, как мы напрасно пишем к ней на родину, нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

— Вот как? — ответил человек и снова задумался.

— Хороша была эта мать, — добавила трактирщица. — Бросила собственное дитя.

В продолжение всей этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз со своей хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз.

Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли свой гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда приплели Пресвятую Деву и младенца Иисуса. Трактирщица направилась к ним, чтобы при-

нять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать то подобие младенца в пеленках, которое соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

После новых настояний хозяйки желтый человек, «миллионер», согласился наконец поужинать.

— Что прикажете подать, сударь?

— Хлеба и сыру, — ответил он.

«Наверно, нищий», — решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую девочки позабыли, занявшись кошкой, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Тогда она выпустила из рук запеленутую саблю, лишь наполовину удовлетворявшую ее сердце, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с кошкой; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, — на нее никто не обращал внимания. Каждая минута

была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было столь редким для нее, что таило в себе все неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме проезжего, медленно поглощавшего свой скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была при этом Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выходит из тени и ярко освещена огнем очага. Эта розовая и блестящая нога, выступавшая из темноты, вдруг поразила взгляд Азельмы, которая сказала Эпонине: «Погляди-ка, сестрица!»

Обе девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпонина встала и, не выпуская кошки, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

— Да оставь ты меня в покое. Ну, что тебе надо? — спросила мать.

— Мама, — ответила девочка, — да посмотри же!

И указала пальцем на Козетту.

А Козетта, вся охваченная восторгом, ничего не видела и ничего не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое вызывается сильнейшей яростью по поводу мелочей жизни и которое заслужило подобного рода женщинам прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет синюю орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

— Козетта!

Козетта так вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

— Козетта! — повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием, осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки, и — страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка — она заломила их. Наконец пришло то, к чему ни одно

переживание дня не могло вынудить ее, — ни ее путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже мрачные, услышанные ею слова хозяйки, — пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Приезжий встал из-за стола.

— Что случилось? — спросил он.

— Да разве вы не видите? — воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

— Ну, и что же? — снова спросил человек.

— Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! — ответила Тенардье.

— И только-то? — сказал человек. — Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?

— Но она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! — продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

— Ты замолчишь или нет! — крикнула тетка Тенардье.

Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл ее и вышел.

Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом

ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

— Возьми, это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещенную плошками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», — она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, — казалось, она не осмеливалась даже дышать.

Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами. Пьяницы и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая

от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое — то есть вор?»

На физиономии супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновенье. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

— Ну что же, Козетта, — сказала Тенардье кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, — почему же ты не берешь свою куклу?

Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.

— Козетточка, — ласково подхватил Тенар-

дье, — господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с чувством какого-то ужаса. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.

Ей казалось, что, лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта наконец приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

— Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищенный.

— Понятно, можно! — ответила кабатчица. — Она твоя. Ведь господин дарит ее тебе.

— Правда, сударь? — переспросила Козетта. — Разве это правда? Она моя, эта дама?

У проезжего глаза были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат,

чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту язык у нее высовывался самым неумеренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.

— Я буду звать ее Катериной, — сказала она.

Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и перемешались с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.

— Сударыня, — спросила она, — а можно мне посадить ее на стул?

— Да, дитя мое, — ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.

— Играй же, Козетта, — сказал проезжий.

— О, я играю! — ответил ребенок.

Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось, само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете. Однако надо было сдер-

живаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступкам мужа, но сейчас это было свыше ее сил. Поспешно отправила она дочерей спать и спросила у желтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», — с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта отправилась спать, унося в объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по собственному ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не решалась произносить их громко.

— Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?

— Ничего не рехнулся! Все это очень просто, — возразил Тенардье. — А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему

нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина — филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот ни другой не терпели возражений.

Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Протекло несколько часов. Полуночная служба отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, нижняя зала опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте, в той же позе. Порой он менял только руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия оставались в зале. «Он всю ночь, что ли, собира-

ется этак провести?» — ворчала Тенардье. Когда пробило два, она сдалась, заявив мужу: «Я иду спать. Делай с ним что хочешь». Супруг уселся около стола в углу, зажег свечу и принялся читать «Французский вестник».

Так прошел добрый час. Достойный трактирщик прочел по крайней мере раза три «Французский вестник» от даты газеты до имени издателя включительно. Проезжий не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек оставался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» — подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло пробудить его от дум.

Наконец Тенардье, сняв свой колпак, осторожно подошел к нему и отважился спросить:

— Не угодно ли вам, сударь, идти почивать?

Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась какая-то пышность и одновременно почтительность. Подобные слова обладают таинственным и замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

— Да, — сказал незнакомец, — вы правы. Где

ваша конюшня?

— Сударь, — усмехаясь, произнес Тенардье, — я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял свой сверток и палку, и Тенардье повел его в комнату первого этажа, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в форме лодки и занавески из красного коленкора.

— Это что такое? — спросил путник.

— Это наша собственная спальня, — ответил трактирщик. — Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

— Мне больше по душе конюшня, — резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтивого замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно сильный огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и померанцевых цветов.

— А это что такое? — спросил проезжий.

— Сударь, — ответил Тенардье, — это подвенеч-

ный убор моей супруги.

Незнакомец окинул этот предмет взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот жалкий домишко, чтобы открыть в нем кабак, то уже нашел эту комнату подобным образом обставленною; он купил эту мебель и сторговал померанцевые цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник обернулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена уже лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

— Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

— Прыткая какая! — холодно ответил Тенардье.

Больше они не обменялись ни словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.

Путешественник же, лишь только хозяин ушел, положил в угол свой сверток и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом он снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору, который вывел его на лестницу. Тут он услыхал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле какого-то трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей. Это углубление было не чем иным, как обратной стороной ступеней. Там, среди всевозможных старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. От времени до времени Козетта тяжко вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Проезжий вошел в нее. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые, маленькие, очень беленькие кроватки. Это были кроватки Эпонины и Азельмы. Позади этих кроваток, наполовину скрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, кричавший весь вечер.

Проезжий предположил, что эта комната была смежной с комнатой супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит такой скудный огонь, если он вообще горит, и от которых веет холодом. В этом камине не было огня, в нем не было даже золы; но то, что стояло в нем, привлекло, однако, внимание путешественника. То были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Проезжий вспомнил прелестный старинный

обычай детей ставить в камин в рождественский сочельник свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него какой-нибудь ослепительный подарок. Эпонина и Азельма не упустили такого случая, и каждая поставила в камин по башмачку.

Проезжий нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, и в каждом башмачке блестела великолепная монета в десять су, совершенно новенькая.

Человек выпрямился и уже собирался удалиться, но заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, самое грубое, ужасное деревенское сабо, наполовину разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта, с той трогательной детской доверчивостью, которая, никогда не отчаиваясь, способна постоянно терпеть разочарования, поставила — и она тоже — свое сабо в камин.

Как божественна и трогательна была эта надежда в ребенке, который знавал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою ком-

нату.

## Глава 9
## Тенардье за делом

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардье, сидя в нижней зале трактира за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путешественника в желтом рединготе.

Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Они не произносили ни слова. Он сосредоточенно размышлял, она же испытывала то благоговейное чувство, с которым человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним чудесное творение человеческого ума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, после нескольких поправок, Тенардье создал следующий шедевр:

СЧЕТ ГОСПОДИНУ ИЗ № 1
Ужин 3 фр.
Комната 10 фр.
Свеча 5 фр.
Топка 4 фр.

Услуги 1 фр.

_____

Итого 23 фр.

Вместо «услуги» написано было «усслуги».

— Двадцать три франка! — воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось некоторое сомнение.

Тенардье, как все великие артисты, не был, однако, удовлетворен.

— Пфа! — пыхнул он.

То было восклицание Кастльри, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

— Ты прав, господин Тенардье, он действительно нам столько должен, — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей. — Это справедливо, но многовато. Он не захочет платить.

Тенардье засмеялся своим холодным смехом и ответил:

— Заплатит.

Этот смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось подобным тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок сто-

лы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он добавил:

— Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, отдался размышлениям.

— Кстати, — опять заговорила жена, — ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня прямо сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардье закурил трубку и сказал между двумя затяжками:

— Ты подашь счет этому человеку.

Затем он вышел.

Только он скрылся за дверью, как в залу вошел проезжий.

Тенардье тут же показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Желтый человек держал в руке свою палку и сверток.

— Так рано и уже на ногах? — воскликнула кабатчица. — Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет,

складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубая физиономия выражала несвойственные ей чувства смущения и беспокойства.

Представить подобный счет человеку, похожему «точь-в-точь на нищего», казалось ей неудобным.

У проезжего был озабоченный и рассеянный вид. Он ответил:

— Да, сударыня, я ухожу.

— Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

— Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардье молча подала ему сложенный счет.

Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

— Сударыня, — спросил он, — а хорошо ли идут ваши дела здесь, в Монфермейле?

— Так себе, сударь, — ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал взрыва возмущения. — Ах, сударь, — продолжала она жалобным и плаксивым тоном, — тяжелое время теперь! Вдобавок и людей-то зажиточных в нашей округе очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь.

Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!

— Какая девчонка?

— Ну, девчонка-то, помните? Козетта. Жаворонок, как ее тут, в деревне, прозвали.

— А-а! — протянул незнакомец.

Она продолжала:

— И дурацкие же у этих мужиков клички! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Вы сами знаете, сударь, какие ужасные деньги дерет с нас правительство. А кроме того, у меня ведь есть свои дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка.

Тогда незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, спросил:

— А что, если бы вас освободили от нее?

— От кого? От Козетты?

— Да.

Красная и свирепая физиономия кабатчицы расплылась в омерзительной улыбке.

— О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите ее, унесите, осыпьте ее сахаром, начините

трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благословит вас Пресвятая Дева и все святые угодники!

— Хорошо.

— Правда? Вы возьмете ее?

— Я возьму ее.

— Сейчас?

— Сейчас. Позовите ребенка.

— Козетта! — закричала Тенардье.

— А пока, — продолжал путник, — я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивления:

— Двадцать три франка! — Он посмотрел на трактирщицу и повторил: — Двадцать три франка? — В том, как произнесены были во второй раз эти три слова, скрывался оттенок, проводящий грань между восклицанием и вопросом.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к удару. Она ответила твердо:

— Ну да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

— Приведите малютку, — сказал он.

В это мгновение на середину комнаты выступил сам Тенардье.

— Этот господин должен двадцать шесть су, — сказал он.

— Как двадцать шесть су? — вскричала жена.

— Двадцать су за комнату, — холодно ответил Тенардье, — и шесть су за ужин. Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать немного с господином проезжим. Оставь нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что великий актер вступил на подмостки, и, не возразив ни слова, удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил проезжему стул. Проезжий сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло непривычно добродушное и простоватое выражение.

— Сударь, — сказал он, — послушайте, скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

— Какое дитя?

Тенардье продолжал:

— Смешно просто! А вот привязываешься к ним. На что мне все эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

— Да кого же? — переспросил незнакомец.

— А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажет-

ся, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать во имя божье. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли вы, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

— Прошу меня простить, сударь, — продолжал Тенардье, — но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека очень порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье… но мне надо знать. Вы понимаете? Предположим, я отпущу

ее и пожертвую собой, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названый отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи, которые превышают наши силы. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, так ведь?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезным и решительным тоном:

— Господин Тенардье, отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Согласны вы? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так и Тенардье понял, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию,

мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, и изучая его, словно математик. Он выслеживал его из личного расчета, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже угадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто был этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кем же он был? Тенардье терялся в догадках. Он предпо-

лагал все и не знал ничего. Как бы там ни было, завязав разговор с этим человеком и, уверенный в том, что тут кроется какая-то тайна, что проезжий не без умысла желает остаться в тени, он чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была проста при всей ее загадочности, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он взвесил все это в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямолинейно и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решающий момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.

— Сударь, — заявил он, — мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил их на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

— Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка изображен был прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Она не знала, что такое золотой, она никогда их не видела, и поспешно спрятала монету в карман передника, словно украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой — неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей дар это был, однако испытывала какое-то смешанное чувство и радости, и страха. Она была довольна; еще более она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед всем этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем уже успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом размышляла об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле — таком богатом и добром. С момента встречи с этим

стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка небесная, никогда не знала, что значит жить, приютившись под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь — тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже не была одинока; кто-то стоял подле нее.

Она проворно принялась за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого накануне выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и, надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, неподвижная, позабыв о своей метелке, обо всем на свете, уйдя в созерцание этой звезды, блистающей в глубине ее кармашка.

В такую-то минуту и застигла ее тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила

ее ни одним тумаком и не обругала ее.

— Козетта, — сказала она почти кротко, — иди скорее.

Спустя минуту Козетта входила в нижнюю залу.

Незнакомец взял принесенный им сверток и развязал его. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки — одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

— Дитя мое, — сказал незнакомец, — возьми все это и пойди скорее переоденься.

День еще только занимался, когда те из жителей Монфермейля, которые начали отпирать свои двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.

Это были наш незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Она не ведала. Куда? Она не знала. Лишь одно ей было понятно: она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал

проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сей поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя на небо. Свой луидор она положила в кармашек нового передника. От времени до времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею сам господь бог.

## Глава 10
## Кто ищет лучшего, может найти худшее

Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда проезжий и Козетта ушли, то Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

— И только-то? — удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки.

Удар попал в цель.

— Ты права, конечно! — ответил он. — Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и поспешно вышел, но сначала ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал по указанному ему пути.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я — болван, — рассуждал он сам с собой. — Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, — все это весьма странно; под этим скрывается немало тайн. Но уловленную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей — это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать. — Все эти мысли вихрем кружились в его голове. — Я болван», — повторял он.

Когда выходишь из Монфермейля и достигаешь поворота, образуемого дорогой, ведущей в Ливри, то далеко вперед видно, как эта дорога бежит по плато. Дойдя до этого места, Тенардье рассчиты-

вал увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, сколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и ребенок, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил в ту же сторону.

Правда, они опередили его, но ведь ребенок идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

— Надо было захватить с собой ружье, — пробормотал он.

Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые иногда незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя лишь наполовину. При спокойной и ровной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» — мы не говорим «быть» — честным, как принято выражаться, торговцем, порядочным гражданином. И в то же время, при иных условиях, при некоторых потрясениях, пробуж-

давших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана в иные мгновения, сидя на корточках в каком-нибудь углу трущобы, где жил Тенардье, предавался размышлениям перед этим высочайшим образцом человеческой низости,

После минутного колебания Тенардье подумал: «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь вперед быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стайку куропаток.

И в самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискосок большую прогалину, что направо от лесной дороги на Бельвю, и достиг той заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил уже такое множество догадок. Эта шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели под ним отдохнуть. Ребенок был так мал, что его не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардье не ошибся. Незнакомец уселся там,

чтобы дать Козетте немного передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого искал.

— Прошу прощения, сударь, — проговорил он, запыхавшись, — извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

— Что это значит?

Тенардье ответил почтительно:

— Сударь, это значит, что я беру Козетту обратно.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику.

А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отделяя каждый слог:

— Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

— Да, сударь, я беру ее. Сейчас я объясню вам почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдавать ее вам. Видите ли, я честный человек. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. И мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы ответите мне: «Но мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано,

что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?

Человек, не отвечая, порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! — подумал он. — Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить».

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было совершенно пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Он открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а простой клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику, сказав: «Вы правы. Прочтите».

Тенардье взял бумажку и прочел:

«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.

Господин Тенардье,

Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены.

Остаюсь с уважением,

***Фантина».***

— Вам знакома эта подпись, — добавил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.

Возражать было нечего. Он был сильно и вдвойне раздосадован: тем, что приходится отказаться от денег, на которые он рассчитывал, и тем, что был побежден.

— Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, — сказал незнакомец.

Тенардье пришлось отступать по всем правилам.

— Подпись довольно ловко подделана, — проворчал он сквозь зубы. — Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

— Пускай будет так, сударь, — сказал он, — поскольку вы являетесь подателем этого письма. Но надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

— Господин Тенардье, в январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков; но в феврале вы послали ей счет на пятьсот франков; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; согласно условию, вы

за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается долгу тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардье испытал то же чувство, что волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Что за черт этот человек!» — подумал он.

И поступил так, как поступает волк: рванулся вон из капкана. Ведь однажды его уже выручило нахальство.

— Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать, — сказал он решительно, оставляя на этот раз в стороне вежливые свои приемы, — я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

Незнакомец спокойно сказал:

— Идем, Козетта.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал свою палку, лежавшую на земле.

Тенардье отметил про себя увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на его широкие, слегка согбенные плечи и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, — подумал он, — пошел на охоту без ружья!»

И все же он не хотел сдаваться до конца.

— Мне надо знать, куда он пойдет, — пробормотал он. И, держась все время поодаль, последовал за ними. В руках у него оставались две вещи: насмешка — клочок бумажки с подписью «Фантина», и утешение — полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зима сделала лес сквозным, и потому Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался от них на довольно значительном расстоянии. От времени до времени человек оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в лесную поросль, среди которой им легко было скрыться.

— Тьфу ты пропасть! — воскликнул Тенардье и ускорил шаг.

Густота лесной чащи принудила его близко подойти к ним. Когда человек вошел в самую ее глубь, то обернулся. Напрасно Тенардье старался

укрыться среди кустов, ему не удалось спрятаться от старика. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг человек снова оглянулся и снова заметил трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел «бесполезным» дальнейшее преследование. Тенардье круто повернулся домой.

## Глава 11
## Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что являлось для него прибыльной

специальностью. Затем Жан Вальжан, подобно всем этим несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем он направился к Гран-Вилару, около Бриансона в Верхних Альпах. То было лихорадочное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому не ведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сивриэ; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в местности, называемой Гранж-де-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни, кантоне Шапель-Гонаге. Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки семи-восьми лет и подыскать себе жилье. Сделав это, он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже предпринимал в самом Монфермейле или в его окрестностях таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Впрочем, его считали умершим, и это еще сильнее сгущало опустившуюся на него тьму. В Париже ему попалась в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Он почувствовал себя успокоенным, почти умиротворенным, словно действительно умер.

Вечером того же дня, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ребенком в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, доставивший его к эспланаде Обсерватории, где он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба, уже глубокой ночью, направились по пустынным улицам, прилегавшим к Урсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный и полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в уединенных харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, и Жан Вальжан заметил это по своей руке, которую она сильнее тянула на ходу. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

# Книга четвертая
# Лачуга Горбо
## Глава 1
## Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в глухую окраину Сальпетриер, поднялся бы вдоль бульвара до Итальянской заставы, то он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, — здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, — здесь попадались городские домики и улочки. Но это не был и город — на улицах пролегали колеи, как на больших проезжих дорогах, и росла трава; это не было и село — дома были слишком высоки. Тогда что же представляла собой эта окраина, одновременно и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка.

Если прохожий отваживался выйти за пределы

четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался тем более миновать Малую Банкирскую улицу и, оставив вправо от себя конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, грудами пней, опилок и щепы, на верхушке которых лаял сторожевой пес, затем длинную низкую развалившуюся стену с маленькой черной грязной дверью, покрытую мхом, который весной прорастал цветами, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, весьма мало известной. Там, вблизи завода и между двумя оградами садов, виднелась в ту пору лачуга, которая казалась с первого взгляда маленькой, словно хижина, а на самом деле была огромной, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковым своим фасадом — отсюда и обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был скрыт. Видны были только дверь и окно.

Лачуга эта была двухэтажной.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: тогда как дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло украшать какой-нибудь особняк.

Эта дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась непосредственно на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками той же ширины, что и сама дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен куда-то в темноту. Верхняя часть грубого проема, в котором ходила дверь, скрывалась за узкой доской с выпиленным в середине ее треугольным отверстием, служившим одновременно и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери кистью, обмакнутой в чернила, двумя мазками была изображена цифра 52, а над дверью той же кистью намалевана цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке, заменяя

занавеску, висели какие-то грязные тряпки.

Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако эти стекла отличались самыми разнообразными повреждениями, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни скорее служили угрозой для прохожих, чем защитой для обитателей лачуги. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок, их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему предназначалось быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и это окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые пошли бы вместе, шагая бок о бок, но, прикрытые одинаковыми лохмотьями, обладали бы различной внешностью: один — напоминая профессионального попрошайку, другой — бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания

служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разнообразных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на каморки. Окнами они выходили на соседние пустопорожние участки. Все это темное, скучное, тусклое, печальное и унылое строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях оказывались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразную и живописную подробность такого рода жилищ составляют громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда забрасывали проходящие мимо дети.

Часть этого здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая доныне, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию в целом — не более ста лет. Для собора сто лет — юность, для жилого дома — старость. Словно людскому жилью свойственна человеческая бренность, а жилищу бога — его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50–52, но в квартале она известна была как дом

Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия целые коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти, словно посаженные на булавки, самые мимолетные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле были два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар[13] — два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот случай был слишком соблазнительным, чтобы судейские писцы не сделали его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия тотчас же разошлась составленная в стихах, хотя и довольно нескладных, сия пародия:

*На груду папок раз ворона взобралась,*
*Арестный лист она во рту зажала.*
*Лиса, приятным запахом прельстясь,*
*Из лесу прибежала*
*И перед ней такую речь держала:*
*«Здорово, друг!..» и т. д.*

Почтенные законники, смущенные плоской

**[13] Примечания: 13**

По-французски ворона — le corbeau (корбо); лисица — le renard (ренар).

шуткой и уязвленные в своем достоинстве хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитие подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош Эмон — слева, оба набожно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, вставшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил этим судейским крючкам переменить — вернее, слегка изменить их фамилии. Так, господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше, он только получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар[14], так что новая фамилия не менее подходила к нему, чем старая.

Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под № 50–52 на Госпитальном бульваре. Он же был и творцом этого огромного окна.

---

**[14] Примечания: 14**

По-французски «пренар» (prenard) означает: взяточник, лихоимец.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

Напротив дома № 50–52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший; прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, не вымощенная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и резко обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывающая Париж, еще существовала в 1823 году.

Эта застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегала дорога, ведущая в Бисетр. Именно через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день своей казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Именно здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, — темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на той роковой улице Крульбарб, где Ульбах поразил кинжалом

пастушку из Иври под раскаты грома, как в мелодраме. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к этому детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к этой жалкой и позорной Гревской площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, не дерзнув ни мужественно отменить ее, ни открыто выступить ее сторонниками.

Тридцать семь лет тому назад, если не упоминать о площади Сен-Жак, которой словно предопределено было всегда внушать ужас, возможно, самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре была эта столь малопривлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга № 50–52.

Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Скорбные мысли овладевали вами, вы чувствовали, что находитесь между Сальпетриер, чей высокий купол можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились; то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись только бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих

на казармы или монастыри. Повсюду бараки, строительный мусор, старые стены — черные, словно траурный покров, новые стены — белые, словно саван; повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, длинные и холодные линии плоских фасадов и гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе — леденящее, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает сердца, как симметрия. Ибо симметрия — это скука, а скука и есть сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет день, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет в облаках луне оконце, бульвар становится вдруг страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает все связанные с виселицей бесчис-

ленные предания об этом месте. В уединенности квартала, где совершено было столько преступлений, таилось что-то жуткое. Чудилось, будто в этой темноте всюду расставлены западни, смутные очертания теней внушали подозрение, а длинные четырехугольные углубления между деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках кое-где на замшелых, старых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо выпрашивали милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, стремился уже тогда преобразиться. Кто хотел его видеть, должен был поспешить это сделать. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь деталь. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных средоточий движения людей от грохота этих мощных машин, от дыхания этих чудовищных коней цивилизации,

пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним три-четыре раза в день в определенное время, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, тем не менее они вполне отвечают действительности: как верно то, что в крупных городах солнце заставляет появляться дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, повсюду расползаются и тянутся тротуары, даже там, где нет еще прохожих. Однажды утром, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день циви-

лизация добралась до улицы Урсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

## Глава 2
## Гнездо совы и славки

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, затем тщательно запер ее за собой и поднялся по лестнице, продолжая нести на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер им другую дверь. Комната, войдя в которую он тотчас же заперся, напоминала довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу стояла топившаяся печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был маленький чулан, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил ребенка на эту кровать, что тот не проснулся.

Он высек огонь и зажег свечу — все это заранее было приготовлено на столе; затем, как и накануне, устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, почти граничившие с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, с кем она, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ручку этого ребенка.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустился на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а ребенок продолжал спать. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Вдруг тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

— Да, сударыня! — внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. — Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще ото сна глазами протянула руки в угол комнаты.

— Боже мой! А где же моя метла? — воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

— Ах, да! Ведь я и забыла! — сказала она. — С добрым утром, сударь.

Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей — радость и счастье.

В ногах своей постели Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она задавала тысячу вопросов Жану Вальжану. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!»

Это была отвратительная конура; но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

— Надо мне ее подмести? — спросила она наконец.

— Играй, — ответил Жан Вальжая.

Так прошел весь день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива возле этой куклы и этого человека.

## Глава 3
## Слившись, два несчастья дают счастье

На рассвете следующего дня Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он жил один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное и отдаленное воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, освободил, он ощутил, как вся душа его дрогнула. Все, что было в ней страстного и нежно-

го, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое; ибо смутно и сладостно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и Козетта, бедная крошка! Она была так мала, когда мать покинула ее, что совсем ее не помнила. Как все дети, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, она пыталась любить. Но это ей не удавалось. Все ее оттолкнули — и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но та издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно

сказать, но мы уже упоминали об этом; в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но — увы! — лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства стали любовью к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение сердечной радости.

Этот добрый человек даже не казался ей больше ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Новизна места и жизни имела здесь немалое значение. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила эти два лишенные корней существования, столь различные по возрасту, но столь похожие по скорби. И действительно, эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана — ребенка. Встретить-

ся — значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно осознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.

Отделенные от всего мира могильной стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собою Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.

Таким образом, таинственное ощущение, которое возникло в Козетте, когда Жан Вальжан в темноте взял ее за руку в чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли господней.

Итак, Жан Вальжан удачно выбрал свое убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, и нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живущих как напротив, так и рядом.

Нижний этаж дома № 50–52 представлял со-

бою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделяясь от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами этой лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилицей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он выразил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за шесть месяцев вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц, есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев; она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь эта цель стала иною: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть — в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он проводил целые часы, глядя, как она одевает

и раздевает куклу, и слушая ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной интереса, люди представлялись добрыми и справедливыми; он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, вся освещенная Козеттой, словно лучезарным сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Правда, это только наше личное мнение, но если уж говорить до конца, то мы полагаем, что Жан Вальжан, когда он полюбил Козетту, нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в лице Жавера. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как

бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был нисколько не крепче Козетты. Он ей оказал покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок этот был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия твоих весов, о судьба!

## Глава 4
## Наблюдения главной жилицы

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-либо церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, то она оставалась под присмот-

ром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую застал в первый день; только застекленную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый рединготт, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сострадательные старушки, оглянувшись на него, подавали ему су. Жан Вальжан принимал это су и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале его стали примечать и прозвали

«нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое, снедаемое завистливым любопытством к ближнему, тщательно следила за Жаном Вальжаном, хотя он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красы у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та, ничего не зная, ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, что показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, словно старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к этой двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда какую-то желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха с ужасом разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось

увидеть в жизни. Она убежала в сильном испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? — подумала старуха. — Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. Эта история с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала множество толков среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Старуха занималась хозяйством в комнате, а Козетта побежала смотреть, как пилят дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась основательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина тщательно прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, другие билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила, что в карманах

лежит множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, что она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и — подозрительная подробность — несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман этого редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так дожили обитатели лачуги до конца зимы.

## Глава 5
## Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю заделанного общественного колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо него, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, кото-

рый только что зажгли. Казалось, этот сильно сгорбившийся человек, как всегда, бормочет свои молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул свое подаяние. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносным, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что перед ним, при свете уличного фонаря, мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, но знакомый и грозный образ. У него было такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Оцепенев от ужаса, он отпрянул назад, не смея ни дышать, ни говорить, ни оставаться на месте, ни бежать, и глядел на нищего, который, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может, таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. У нищего был тот же рост, те же лохмотья, тот же облик, как обычно. «Ба! — подумал Жан Вальжан. — Я сумасшедший! Мне померещилось! Это невозможно!» И он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицом Жа-

вера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, — это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, при наступлении сумерек, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте. «Здравствуй, милый человек», — решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су. Нищий поднял голову и жалобно произнес: «Спасибо, добрый господин». Это, несомненно, был старый псаломщик.

Жан Вальжан совершенно успокоился. «Где, черт возьми, я увидел тут Жавера? — подумал он, сам над собой подсмеиваясь. — Не начинает ли у меня портиться зрение?» Больше он об этом не — думал.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера, Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и опять закрылась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживающая в доме, ложилась всегда спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице.

Конечно, это могла быть и старуха, возможно, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках, к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги остановились. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на своем стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ничего более, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь своей комнаты, увидел сквозь замочную скважину свет. Этот свет казался какой-то зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Прошло несколько мгновений, и свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал ни малейшего шума шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял сапоги.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать и всю ночь не мог сомкнуть глаз.

На рассвете, когда он от усталости задремал,

его разбудил скрип открывавшейся двери в одной из пустовавших комнатушек в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, приложив глаз к замочной скважине, пытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его дверей. Действительно, это оказался мужчина, который на сей раз прошел мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо; но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз через окно, выходившее на бульвар. Но для этого окно надо было открыть, на что он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом и как к себе домой. Но кто дал ему этот ключ? Что все это означало?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее про-

ницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

— Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера уже считалось глубокой ночью.

— А ведь правда, слыхал. Кто же это был? — спросил он самым естественным тоном.

— Это новый жилец, который поселился в доме.

— А зовут его?..

— Толком не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Вроде этого, — ответила старуха.

— А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими пронырливыми глазками и ответила:

— Такой же рантье, как и вы.

Может быть, у нее не было никакой задней мысли, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил стопкой сотню франков, хранящихся у него в шкафу, и, завернув их в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из

рук и со звоном покатилась по полу.

При наступлении сумерек, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар из конца в конец. Нигде не было ни души. Бульвар оказался совсем пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

— Идем, — сказал он Козетте.

И, взяв ее за руку, он вышел из дома.

# Книга пятая
# Ночная охота с немой сворой
## Глава 1
## Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми встретится читатель в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж — его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне уже ушел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он существовал еще. Быть может, там, куда автор поведет читателя, со словами: «Вот на такой-то улице стоял такой-то дом», — нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят

взять на себя труд это сделать. Самому же ему современный Париж неведом, и он пишет, видя пред собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, эти стены чужды, деревья — случайность на твоем пути, что дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, простой булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти горячо любимы тобой, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу души своей, крови своей, сердца своего ты оставил на этом булыжнике. Все эти места, которых не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и непрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для

нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Итак, да будет нам дозволено говорить о минувшем так, как о настоящем. Предупредив об этом читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан тотчас же покинул бульвар и углубился в улицы, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь назад, чтобы удостовериться, что за ним не следят.

Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. В охотничьей травле этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в

голову, что эта теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, смежным с улицей Поливо, за ним никто не следует.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сообщили какую-то пассивность ее натуре. Кроме того — и к этой присущей ей особенности нам придется еще не раз возвращаться, — она, не слишком разбираясь в них, привыкла к странностям старика и к причудам судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он сам; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Таким образом, не было у него никакой четкой мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что сам он — Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться бо-

лее в лачугу Горбо. Словно поднятый из берлоги зверь, он искал какую-нибудь нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, точно были еще в силе строгие порядки Средневековья и давался сигнал о тушении огня. Различными способами, согласно с требованиями высокой стратегии, он пробрался из Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах имелись ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он пересекал улицу Понтуаз против бюро полицейского пристава, помещавшегося в доме № 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин, которые один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского бюро — их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому

№ 14. Шедший во главе показался ему безусловно подозрительным.

— Идем, дитя, — сказал он Козетте и поспешил покинуть улицу Понтуаз.

Он сделал круг, обогнул уже запертый по случаю позднего времени Патриарший пассаж, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и углубился в Почтовую улицу.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, что Новая Сент-Женевьевская улица — старая улица, и по Почтовой улице разве только раз в десять лет проезжает почтовая карета. В тринадцатом столетии эта Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название — Горшечная.)

Луна ярко освещала этот перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились вновь. Теперь их было уже четверо, все высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах и с толстыми ду-

бинками в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались кучкой на середине перекрестка, словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Жан Вальжан узнал Жавера.

## Глава 2
## К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, она длилась еще для этих людей. Он воспользовался их нерешительностью: это было потерянное для них время, но выигранное для него. Выйдя из-под ворот, где он притаился, он пошел вперед по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала

уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро достиг он горшечной фабрики Гобле, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная лунным светом старинная надпись:

*Здесь фабрика Гобле и сына.*
*Прохожий, покупать спеши!*
*Горшки, тазы, котлы, кувшины —*
*Все предлагаем от души.*

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегающим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынны. Никто не шел за ним. Он облегченно вздохнул.

Он достиг Аустерлицкого моста.

В ту пору еще взимали мостовую пошлину.

Жан Вальжан подошел к будке сборщика пошлины и протянул су.

— С вас полагается два су, — сказал ему старик инвалид. — Вы несете ребенка, который сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход

через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним через мост проезжала большая повозка, направляясь также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрывшись в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги, и она пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, необходимо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Его искали, правда, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась улочка Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем войти в нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем лишь брезжила надежда, что, может быть, эти люди не успели еще взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

## Глава 3
## Смотри план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы Y. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предме-

стье, то есть в заселенную местность, а правое — в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

От времени до времени он оглядывался назад. Он старался держаться теневой стороны прямо тянувшейся перед ним улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, немного успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он в какой-то миг заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, проскользнув в нее, еще раз сбить преследователей со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Эта стена, однако, нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль поперечного переулка, примыкавшего к улице, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой собой представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул назад.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других — преобразили. Вспаханные поля, дровяные склады и старые дома исчезли. Теперь там уж появились широкие

новые улицы, площади, цирки, ипподромы, железнодорожные вокзалы, тюрьма Мазас: прогресс, как мы видим, и его исправительное средство.

Полвека тому назад, на обиходном народном языке, который весь основан на преданиях и именует Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу — «Федо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша, Малый Пикпюс — все эти старинные названия уцелели и до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощенные, улицы почти не застроенные. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни проезжающего экипажа; изредка кое-где мерцали в окнах огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где — низкие домишки и длинные, высотою с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во времена Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал оказался окончательно погребенным под выросшими новыми зданиями. В настоящее время он не существует более. Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери в улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена в Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по своей форме был похож на букву Y, образуемую разветвлением улицы Зеленая дорога, левая ветвь которой носила название улочки Пикпюс, а правая — улицы Полонсо. Обе ветви этой буквы Y на своих концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась улицей Прямой стены. Здесь заканчивалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и достигал конца улицы Полонсо, слева оказывалась улица Прямой стены, сворачивающая под прямым углом, впереди — стена этой

улицы, а направо — продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, называемый тупиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу улицы Прямой стены и улочки Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Этот призрак подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он заметил мгновение назад и что двигалось в темноте на некотором расстоянии позади него, были, несомненно, Жавер и его помощники. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер был хорошо знаком с этим маленьким лабиринтом и принял свои меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, столь отвечавшие действительности, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим ветром, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на улочку Пикпюс: там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, за-

литой лунным сиянием мостовой. Идти вперед — попасть в руки этого человека. Идти назад — попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. С отчаянием взглянул он на небо.

## Глава 4
## В поисках спасения

Чтобы понять все дальнейшее, следует точно представить себе переулок Прямой стены и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался налево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой же виднелось лишь одно строение строгих очертаний, состоящее из нескольких особняков, которые постепенно повышались то на один, то на два этажа, по мере своего приближения к улочке Пикпюс. Таким образом, будучи очень высоким со стороны улочки Пикпюс, это здание было значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, оно очень понижалось и переходило в стену. Но стена не обрывалась на улице; она окружала сильно срезанный конец квартала, скрытая в этом месте

своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой — в переулке Прямой стены.

От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома № 49, а по улице Прямой стены, где отрезок ее был много короче, — до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый, вдававшийся вглубь угол. Этот боковой фасад выглядел угрюмо, в нем было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемой здесь нами с величайшей точностью, несомненно, пробудит самое живое о ней воспоминание в старожилах этого квартала.

Стену на срезанном углу целиком занимало нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкось и вкривь друг к другу, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

В этом месте стену осеняли ветви липы, а со стороны улицы Полонсо ее обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, это здание привлекло к себе своей мрачностью и уединенностью. Он быстро окинул его взглядом, подумав, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, возможно, он будет спасен. Вначале это было только мыслью и надеждой, но не намерением.

В средней части переднего фасада этого здания, выходившего на улицу Прямой стены, возле всех окон на всех этажах имелись старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Сотней своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листвы виноградные лозы, вьющиеся вверх по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное шпалерное дерево с жестяными и железными сучьями было первое, что бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к уличной тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом! Но труба была расшатана, испорчена и еле держалась на стене. Кроме того, все окна безмолвного этого

жилья, даже и слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. И как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения карабкаться вверх по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не сможет заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести там остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он быстро ощупал ворота и тут же обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала

их даже менее крепкими; доски в них сгнили; железные полосы — их было всего три — заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это не были ворота. На них не видно было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посредине. Соединенные друг с другом железные полосы пересекали их от края до края. Сквозь щели досок он разглядел грубо скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери — не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.

## Глава 5
## Что было бы немыслимо при газовом освещении

В эту минуту до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан отважился осторожно выглянуть из-за угла. Взвод солдат из семи-восьми человек выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надви-

галось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все пролеты дверей и проходные аллейки.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был какой-то ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату навек Козетты, — иначе говоря, жизнь, подобную пребыванию в могиле.

У него оставалась лишь одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли святого, в другой — опасные таланты каторжни-

ка. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.

Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды, — даже до высоты шестого этажа, только изредка пользуясь выступающими в них камнями. Это было то же искусство, что стяжало столь страшную и громкую славу тому уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. В ней было приблизительно восемнадцать футов высоты. Угол, образуемый этой стеной и боковым фасадом большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника, вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Эта каменная кладка была около пяти футов высоты, а в том расстоянии, которое надо было преодолеть от его верхушки до гребня стены, — не более четырнадцати футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не умела взбираться на стены. Бросить ее? Но это даже и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе было невозможно. Чтобы успешно совершить это удивительное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, несомненно, он отдал бы его за веревку.

Крайним жизненным обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Отчаявшийся взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа

не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закрепленной в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась эта веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Сама же веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок маленького шкафа и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с роком они действуют стремительно, эти мрачные изобретатели отчаянных средств.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Таким образом, фонарь в тупике Жанро тоже не горел, и можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висел ниже обычного.

А между тем поздний час, безлюдее, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение — все

это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте уже давно бы громко плакал. Она же ограничилась только тем, что дернула Жана Вальжана за полу его редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

— Отец, мне страшно! — сказала она тихонько. — Кто это там идет?

— Тише! — ответил несчастный. — Это Тенардье.

Козетта задрожала. Он добавил:

— Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями — это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, — он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковым фасадом дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой — перила. Не более

как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардье ввергли ее в какое-то оцепенение.

Вдруг она услыхала, как Жан Вальжан тихонько окликнул ее:

— Прислонись к стене!

Она повиновалась.

— Не говори ни слова и не бойся, — продолжал Жан Вальжан.

И она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался до срезанного угла стены. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось удачным совпадением, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, едва собрался сойти с гребня стены, как сильнейший шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовый голос Жавера:

— Обыщите тупик! За улицей Прямой стены следят, за переулком Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной, или присутствие духа, но Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

## Глава 6
## Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то очень большом и странном саду — в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам — купы высоких старых деревьев, а посредине — открытая полянка, на которой можно было различить огромное, одиноко стоящее дерево, несколько кривых и

взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестевшими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Там и сям стояли каменные скамьи, казавшиеся черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие — покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, и за нею, возле самой стены, каменная статуя — ее изувеченное лицо казалось лишь смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Это строение представляло собой какие-то развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходившее на улицу Прямой стены и в переулок Пикпюс, обращено было двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, в сад. Эти внутренние фасады выглядели еще мрачнее, чем главный. Все окна были зарешечены, нигде ни одного огонька. В верхних этажах над ними выступали навесы, как в тюрь-

мах. Одно крыло здания отбрасывало на другое свою тень, стлавшуюся по саду, словно огромное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Однако можно было смутно разглядеть какие-то стены, скрещивавшиеся друг с другом, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.

Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану. Слышен был беспорядочный шум, который производил патруль, обшаривая тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским агентам, расставленным на посты, его проклятия впе-

ремежку со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа этот похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.

И тихонько закрыл рукой рот Козетте.

Впрочем, уединенное место, где находились они, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог его встревожить. Казалось, что стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.

Вдруг среди этой глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии: в черном и устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, — те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, казалось, хор ангелов приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока пели эти голоса, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь: он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет крылья — те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.

Пение умолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать не мог. Часы экстаза пролетают как мгновение.

Все снова погрузилось в тишину. Ни звука на улице, ни звука в саду. Что угрожало, что ободряло — все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинок, колеблемых ветром.

## Глава 7

## Продолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер — значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, прислонившись к нему головкой, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, и их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

— Тебе хочется спать? — спросил он.

— Мне очень холодно, — ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

— А она все еще здесь?

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Госпожа Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

— А, вот оно что! Она уже давно ушла, — ответил он. — Не бойся ничего.

Ребенок облегченно вздохнул, словно с души его спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял свой редингот и укутал им Козетту.

— Теперь тебе теплее? — спросил он.

— О да, отец!

— Хорошо, подожди меня минутку. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к овальным окнам, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. Все они выходили из довольно обширного, вымощенного широкими плитами и разделенного арками и колоннами зала, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет лился из ночника, горевшего в углу. Зал этот был пуст, все в нем было недвижимо. Однако, всмотревшись, он заметил на полу что-то, казалось, покрытое саваном и походившее на человеческую фигуру. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, словно в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею, и можно было подумать, что шею этой зловещей фигуры обвивала веревка.

Весь зал тонул в густом тумане, как бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более жуткий характер.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он в своей жизни бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в этом неведомом месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это был живой человек.

У него хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, поспевает это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени его подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в

самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, — здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те идут на призыв, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер по улице. Это не был сон. Чтобы поверить этому, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, переживания вечера — все это вызвало у него настоящую лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

## Глава 8
## Загадка усложняется

Ребенок уснул, положив голову на камень. Жан Вальжан сел подле и начал смотреть на девочку. Глядя на нее, он постепенно успокаивался и обретал обычную гибкость мысли.

Он ясно осознавал истину, которая отныне легла в основу его жизни: до тех пор пока Козетта с ним, ничего ему не будет нужно для себя, а только

для нее; ничто не вызовет в нем страха за себя, а только за нее. Он даже не ощущал, что продрог, хотя сбросил свой редингот, чтобы прикрыть ее.

Однако среди овладевшего им раздумья его слух поразил какой-то странный шум. Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада и хотя был негромким, но слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук этот заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками дынных грядок и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо это хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, а ночной темноты — потому, что она помогает застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, а сейчас — то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские агенты не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и тем выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, ненужной мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди дынных гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон, когда он удалялся, то и звон удалялся; когда он делал какое-нибудь резкое движение, его сопровождало тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к этому человеку; но что же это могло означать? Кем мог быть этот человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан тронул руки Козетты. Они были как лед.

— О боже! — пробормотал он и тихо позвал ее: — Козетта!

Она не открыла глаз.

Он сильно встряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» — подумал он и встал, дрожа с головы до ног.

Самые мрачные мысли беспорядочно закружились в его голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот остановится.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Обезумев, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут Козетта должна быть у огня и в постели.

## Глава 9
## Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

— Сто франков! — крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

— Вы получите сто франков, только приютите меня на сегодняшнюю ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

— Как! Это вы, дядюшка Мадлен? — воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в этот ночной час, в этой незнакомой местности, этим незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, но только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик,

одетый наподобие крестьянина. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Так как лицо его находилось в тени, то разглядеть его было невозможно.

Между тем старик снял шапку и воскликнул, трепеща от волнения:

— Ах, боже мой! Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом и не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Ведь если не знать, кто вы, то можно испугаться. Без сюртука! Владыка небесный, неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы вошли сюда?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим одновременно изумление и детское простодушие.

— Кто вы и что это за дом? — спросил Жан Вальжан.

— Черт возьми! Вот так история! — воскликнул старик. — Да ведь я же тот самый, кого вы сюда

определили, а этот дом — тот самый, в который вы меня определили. Как, вы разве не узнаете меня?

— Нет, — ответил Жан Вальжан. — Но вы-то каким образом меня знаете?

— Вы спасли мне жизнь, — ответил человек.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

— Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

— Слава богу! Наконец-то! — с упреком проговорил старик.

— А что вы здесь делаете? — спросил Жан Вальжан.

— Как что делаю? Прикрываю дыни, конечно.

И действительно, в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть дынную грядку. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые наблюдал Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

— Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, — добавил он, глядя на Жана

Вальжана с добродушной улыбкой, — право, не мешало бы тоже одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрошеный гость.

— А что это у вас висит за звонок?

— Этот-то? А для того, чтобы от меня убегали, — ответил Фошлеван.

— То есть как это, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным — видом.

— А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Им сдается, что встретиться со мною опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

— А что это за дом?

— Вот тебе и на! Вы сами хорошо знаете.

— Нет, не знаю.

— Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

— Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

— Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал понемногу вспоминать. Случай, вернее, провидение неожиданно забросило его именно в этот монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

— Монастырь Малый Пикпюс, — повторил он про себя.

— Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? — снова спросил Фошлеван. — Пусть вы святой, вы все равно мужчина, а мужчин сюда не пускают.

— Но вы-то живете здесь?

— Только я один и живу.

— И все же мне надобно здесь остаться, — сказал Жан Вальжан.

— О господи! — вскричал Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и сказал ему серьезно:

— Дядюшка Фошлеван, я спас вам жизнь.

— Я первый вспомнил об этом, — заметил старик.

— Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что я когда-то сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими руками могучие руки Жана

Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил:

— О! Это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, его лицо засияло.

— Что я должен сделать? — спросил он.

— Я вам объясню. У вас есть комната?

— Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко этот был настолько хорошо скрыт за развалинами и настолько недоступен для взгляда, что Жан Вальжан даже не заметил его.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь исполните мои две просьбы.

— Какие, господин мэр?

— Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

— Как вам угодно. Я знаю, что вы не можете сделать ничего нечестного и что вы всегда были божьим человеком. А к тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это ваше дело. Я весь

ваш.

— Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

— А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? — пробормотал Фошлеван.

Он больше ничего не сказал и последовал за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином.

Спустя полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситный хлеб и поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено рукой, старик сказал:

— Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они помнят о вас. Вы — неблагодарный человек!

## Глава 10,
## в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник должен был направиться в Париж. Париж — водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глуби океана. Нет чащи, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно беглецам всякого вида. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она там и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он действительно оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность в этом деле были

замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Поэтому господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, теперь перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Там Жавер оказался человеком полезным в самых разнообразных отношениях и, мы должны это отметить, внушающим к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подобных услугах.

Он уже забыл о Жане Вальжане — ведь гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, — как вдруг, в декабре 1823 года, он заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать обо всех подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание — это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальной, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он только ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко». Затем он отбросил газету и больше о нем не думал.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в парижскую полицейскую префектуру донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, причем, по слухам, это сопровождалось странными обстоятельствами. Девочка семи или восьми лет, говорилось в донесении, доверенная матерью местному трактирщику, была похищена каким-то незнакомцем; имя девочки Козетта, и она является дочерью девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему хорошо знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его, Жавера, расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Он вспомнил также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Некоторые наблюдения, сделанные тогда, наводили даже на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этой деревушки, ибо в самой деревушке его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер понял это. Там

жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенок был похищен незнакомцем. Кто мог быть этот незнакомец? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и отправился в Монфермейль. Он надеялся найти там полное разъяснение этого дела, но нашел полную неизвестность.

В первые дни раздраженные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в деревушке шуму. Сейчас же появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда первая досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту очень скоро понял, что не всегда полезно беспокоить господина прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет — вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом, как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он круто изменил свое поведение, заткнул жене рот и при-

творялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну конечно, в первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал дедушку, и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот дедушка и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Это богатый земледелец. А имя его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер — имя добропорядочное и вполне внушающее доверие. Жавер возвратился в Париж. «Этот Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», — сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг, в марте 1824 года, до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищий, что подает милостыню». Болтали, будто эта личность — богатый рантье; имени его никто в

точности не знал; жил он вдвоем с восьмилетней девочкой, которая только и помнит, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это слово заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а сейчас полицейский шпион под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил и несколько других подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем ужасный старый желтый рединготстоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее особенно подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он занял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый шпион, сидя каждый вечер на корточках и гнусавя свои псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому таким образом Жаверу и протянула ему подаяние. В эту минуту Жавер поднял голову и вздрогнул, думая, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте; ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера все еще оставались серьезные сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он последовал за стариком до лачуги Горбо, где без особого труда заставил разговориться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала ему о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова, чем расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, которая, услышав звон денег, подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить об этом Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями на бульваре.

Жавер попросил в префектуре дать ему в по-

мощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских записях числился в рубрике *самых опасных злодеев*, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции, безусловно, не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут его каторжника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возвещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них всю свежесть и новизну. Он предпочитал обрабатывать свои коронные дела в тиши, чтобы затем внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, а далее от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже тогда, когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не арестовал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху

полиция не чувствовала себя независимой в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Несколько самовольных арестов, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю вину на них; промах вел за собой отставку. Можно вообразить себе, какое впечатление произвела бы в Париже следующая коротенькая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!

Кроме того, повторяем, Жавер и сам отличался большой щепетильностью; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, это несчастье, это новое вынужденное бегство ночью и поиски в Париже случайного убежища для себя и Козетты, необходимость приноравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого

настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция, в лице Жавера, могла ошибиться и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в дедушку, наконец уверенность в смерти его на каторге — все вместе усиливало нерешительность Жавера.

На мгновение у него возникла мысль потребовать, чтобы старик немедленно предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то это, вероятно, был один из молодцов, глубоко и искусно впутанных в темный заговор парижских преступлений, один из главарей опасной шайки, творящий милостыню, чтобы заслонить этим другие свои таланты, — старый, испытанный прием. Конечно, у него есть сообщники, соучастники преступления, есть запасные квартиры, где он намеревался скрыться. Все петли, которые он делал по улицам, доказывали, что это не простой старик. Задержать его слишком поспешно — значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить с этим? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кем же могла быть эта загадочная личность?

И лишь на улице Понтуаз, при ярком свете, вырывавшемся из кабачка, он узнал Жана Вальжана; ошибки быть не могло.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: это мать, нашедшая своего ребенка, и тигр, схвативший свою добычу. Жавер ощутил такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он сразу подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников, и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Это промедление и остановка в переулке Ролен для совещания со своими агентами чуть было не заставили Жавера потерять след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие, реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика

пошлины: «Видели вы мужчину с маленькой девочкой?» — «Да, я заставил его заплатить два су», — ответил сборщик. Этот ответ осветил положение. Жавер вступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился в улицу Зеленая дорога, Жавер вспомнил о тупике Жанро, служившем там как бы ловушкой, вспомнил и о единственном выходе из улицы Прямой стены на улочку Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя», поспешно, обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты — козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана — будь опытным псовым охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры и зная, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским агентом слева, а сзади им самим, Жавером, он взял понюшку табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что тот уже в его власти, желая, насколько возможно, отдалить момент

ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле уже пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе немного полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в мертвой их хватке. Какое наслаждение — душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось только сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен отчаянием Жан Вальжан, Жаверу, при его свите, даже и самая мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки улицы, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи уже там не оказалось.

Легко представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего улицы Прямой стены и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы там проходил мужчина.

Случается иногда, что олень вот уже взят за ро-

га — и вдруг его как не бывало; иными словами, он уходит, пусть даже вся свора собак повисла у него на боках. Тогда самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез и те не знают, что сказать. В минуту подобной неудачи Артонж воскликнул: «Это не олень, а оборотень!»

Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование в эту минуту больше походило на отчаяние и бешенство.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр — в войне с Индией, Цезарь — в африканской войне, Кир — в скифской, так, несомненно, и Жавер допустил ошибки в этом походе против Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему следовало довериться своему первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно признал его. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, стоя в ярком лунном свете. Конечно, обмен мнениями полезен, и не мешает знать и выспросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследу-

ющий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, слишком озабоченный тем, чтобы пустить гончих по правильному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной же промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел эту ужасную и ребяческую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Он мнил себя сильнее, чем был на самом деле, и решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время он думал, что недостаточно силен, когда счел необходимым взять себе подкрепление. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени. Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, однако же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых вместе бечевок образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой мелких глупостей. Разберите канат, бечеву за бечевой, возьмите в

отдельности каждую из мельчайших решающих причин, приведших к большой глупости, и вы без труда справитесь со всеми.

«И только-то!» — скажете вы. Но скрутите, свейте их вместе — и тогда это страшная вещь. Это Аттила, который медлит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе; это Аннибал, который замешкался в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Но как бы там ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок уличного фонаря, веревка которого была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить все розыски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным невозделанным участкам земли. По-видимому, Жан Вальжан должен был бежать в этом направлении. Несомненно, если бы он проник поглубже в тупик Жанро, он, вероятно, так и сделал бы, и это было бы его гибелью.

Жавер так тщательно обшарил эти сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, пристыженный, словно сыщик, пойманный вором.

# Книга восьмая
# Кладбища берут то, что им дают
## Глава 1,
## где говорится о способе войти в монастырь

Именно в такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду, на углу улицы Полонсо. Этот гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, был хор монахинь, певших утреню; эта зала, представшая перед ним во мраке, была часовня; этот призрак, который он увидел простертым на полу, была сестра, «совершающая искупление»; этот бубенчик, звук которого столь поразил его, был бубенчик садовника, привязанный к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, поужинали куском сыра и стаканом вина перед ярко пылающим очагом; затем они быстро улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке занята была Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан

сказал: «Я должен остаться здесь навсегда». Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до самого утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Но налетевший на него новый шторм забросил их в этот монастырь, и Жан Вальжан теперь помышлял лишь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении этот монастырь был одновременно и самым опасным, и самым безопасным местом, самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, — таким образом, для Жана Вальжана этот монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме; самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — вот спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырские ограды

так просто не пролезть. Как же так он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это был за ребенок? Откуда они оба появились? С той поры как Фошлеван находился в монастыре, он никогда ничего не слыхал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что подступиться к нему с вопросами нельзя было; к тому же Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительной особой. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что г-н Мадлен по причине тяжелых времен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это отнюдь не отвратило от него Фошлевана, который, как многие из наших северных крестьян, был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, само собою разумеется, захотел в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимым, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это — каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой.

Фошлеван видел их, касался их, говорил с ними — и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и ничего ясно себе не представлял, кроме того, что г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А совесть его добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой, стану я его спасать? Конечно».

Однако как помочь ему остаться в монастыре? Какая трудная задача! Перед такой попыткой, почти не осуществимой, Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на

этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Дедушка Фошлеван был старик, проживший всю свою жизнь эгоистом, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем уже в жизни не интересующийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, увидев возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью накинулся на это, с какой умирающий, найдя под рукой стакан хорошего вина, никогда им не отведанного, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал вот уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где полезно дать некоторую психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев по

множеству разнообразных причин крушение в своих делах, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же, вопреки ругани и щелканью кнутом, что составляло его занятие и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, в нем был еще жив письмоводитель. Он обладал природным умом; его речь была правильной; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Он что твой барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «Не то мещанин, не то мужик; в общем, ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел от судьбы и был изрядно ею измучен, все же оставался человеком, повинующимся, и совершенно добровольно, первому побуждению, — драгоценное качество, никогда не допускающее человека творить зло. Его недостатки и его пороки, ибо он таковыми обладал, были поверхностны; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем

соприкосновении с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали те неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на своей охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

— Теперь, когда вы здесь, как вы думаете поступить, чтобы войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

— Прежде всего, — сказал Фошлеван, — вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад, мы пропали.

— Это верно.

— Господин Мадлен, вы попали сюда в очень хорошее время, то есть я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных здорово больна. Значит, на нас не будут обращать особенного внимания. Сдается, она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, — святая. Сказать правду, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы,

что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить отходную, а потом заупокойную. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

— Однако, — заметил Жан Вальжан, — эта хижина стоит в углублении стены, она скрыта чем-то вроде развалин, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

— А я прибавлю еще, что монахини никогда к ней и не подходят.

— Так в чем же дело? — воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь можно жить незамеченным». Именно на это Фошлеван и возразил:

— А девочки?

— Какие девочки? — удивился Жан Вальжан.

Только что Фошлеван собрался ответить, как раздался удар колокола.

— Монахиня скончалась, — сказал он. — Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану, чтобы тот прислушался.

Колокол прозвучал вторично.

— Это похоронный звон, господин Мадлен.

Колокол будет звонить ежеминутно целых двадцать четыре часа, до самого выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрещение, все равно прибегут сюда и будут совать свой нос повсюду. Эти херувимчики — настоящие дьяволята!

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Девочки. Вас мигом обнаружат, не сомневайтесь. А потом станут кричать: «Глядите-ка, мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Никакой перемены у них не будет. Весь день уйдет на молитвы. Вы слышите колокол? Я вам уже говорил — по удару в минуту. Это похоронный звон.

— Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя он подумал: «Воспитание Козетты было бы обеспечено».

Фошлеван воскликнул:

— Еще бы! Конечно, тут есть маленькие девочки! Ну и подняли же бы они тут около вас пискотню! И задали же бы стрекача! Здесь мужчина — все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

— Этот монастырь — наше спасение, — шептал он про себя. Затем сказал вслух: — Да, самое трудное — это остаться здесь.

— Нет, — ответил Фошлеван, — выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

— Выйти?

— Да, господин Мадлен, для того чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

И, переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

— Никак нельзя, чтобы вас тут застали. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А что касается монахинь, так им требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более замысловатый звон другого колокола.

— Ага! — сказал Фошлеван. — Это сбор капитула. Зовут матерей-изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Слушайте, это не потому, что я хочу вас допрашивать, но скажите, как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену обратно на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и, когда вы в безопасности, вдруг вы слышите дружеский совет вновь возвратиться туда же. Жан Вальжан представил себе весь квартал, еще кишащий полицией, агентов, ведущих наблюдение, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка — сам Жавер.

— Невозможно! — воскликнул он. — Дедушка Фошлеван, считайте, что я упал сюда с неба.

— Ну, я-то верю этому, охотно верю, вам незачем говорить мне, — отвечал Фошлеван. — Господь бог, наверное, взял вас на руки, чтобы разглядеть поближе, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, да ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел посмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда он даже приподымает кое-что другое. Что это они

так поспешили на этот раз предупредить врача? Что такое случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

— Козетта.

— Это ваша девочка? Вернее сказать, вы будете ее дед?

— Да.

— Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной — ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на улице Зеленая дорога, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется уже с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

— Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в какой-нибудь корзине и

под чехлом, как Козетта.

Фошлеван принялся чесать у себя за ухом, что служило признаком серьезного замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

— Это уходит врач покойников, — сказал Фошлеван. — Он поглядел и сказал: «Она умерла, так и есть». После того как доктор заверил пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если сестра-монахиня, то обряжают сестры. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник, он всегда немножко могильщик. Гроб ставят в нижнюю, выходящую на улицу церковную залу, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня да факельщиков за мужчин не считают. В этой самой зале я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб — и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят уже с грузом внутри. Вот что такое похороны. «De profundis»[15].

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и

---

**[15] Примечания: 15**

«Из глубины взываю» *(лат.)* — начало заупокойного псалма.

казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Добряк садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее:

— Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, что кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку — их отвозят на это кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. Но чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен…

— Погребен, — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой. Фошлеван подхватил это слово.

— Ну, разумеется, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением!

Звон колокола раздался в четвертый раз. Фошлеван поспешно снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и снова пристегнул его к колену.

— На этот раз звонят мне. Меня требует мать-

настоятельница. Так и есть, я укололся шпеньком от пряжки. Господин Мадлен, не трогайтесь с места и ждите меня. Видно, есть какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

И он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, оглядывая мимоходом свои дынные грядки.

Не прошло и десяти минут, а дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и нежный голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Эта дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. А приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном стоящем в приемной стуле сидела настоятельница и ожидала Фошлевана.

## Глава 2
## Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям известного склада характера, а также

людям известных профессий свойственно принимать взволнованный и одновременно значительный вид — особенно священнослужителям и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности и лежало на лице настоятельницы — некогда очаровательной и ученой мадемуазель Блемер, а ныне матушки Непорочность, обычно такой веселой.

Садовник боязливо поклонился, остановившись на пороге кельи. Настоятельница, перебиравшая четки, взглянула на него и сказала:

— А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

— Дедушка Фован, я приказала позвать вас.

— Вот я и пришел, честна€я мать.

— Мне нужно поговорить с вами.

— И мне тоже, — сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. — Мне тоже надо кое-что сказать вам, пречестна€я мать.

Настоятельница поглядела на него.

— Вы хотите сообщить мне что-то?

— Нет, попросить.

— Хорошо, говорите.

Добряк Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецой, — сила; его не страшатся, и поэтому на него попадаются. Прожив около двух с лишним лет в монастыре, Фошлеван добился признания в общине. Если не считать его работу по садоводству, ему, в постоянном его одиночестве, больше ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от всех этих скрытых монашескими покрывалами женщин, снующих взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой одно лишь мелькание каких-то теней. Но наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнозоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван обо всем знал и обо всем молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все

считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери-изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал порядок и выходил из своей сторожки только тогда, когда того явно требовала необходимость быть либо в огороде, либо в саду. Подобная сдержанность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставил проболтаться двух людей: в монастыре — привратника, и потому знал подробности всего происходившего в приемной; а на кладбище — могильщика, и потому знал все особые обстоятельства похорон. Таким образом, он получал двойного рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он не злоупотреблял ничем. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего не смыслящий, без сомнения, глуховатый — какое множество достоинств! Заменить его было бы трудно.

С уверенностью человека, знающего себе цену, добряк обратился к почтенной настоятельнице с весьма глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он пространно говорил о своем возрасте, хворостях, о бремени лет, удвоившемся для него отныне благодаря возрастающей

трудности работы, обширности сада и бессонным ночам, — к примеру, нынешней, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дынные грядки, — и договорился до следующего: у него есть брат (настоятельница сделала движение), — брат отнюдь не молодой (настоятельница опять сделала движение, но уже более спокойное), и если пожелают, то этот брат мог бы поселиться с ним и помогать ему в работе; это превосходный садовник, и для общины он будет очень полезен, полезнее его самого; а если этого брата взять не согласятся, в таком случае он, Фошлеван-старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вынужден будет, как это ни обидно, уйти отсюда; наконец, у его брата есть дочка, которую тот привел бы с собой, девочка выросла бы здесь в страхе божьем и, как знать, может статься, в один прекрасный день постриглась бы в монахини.

Когда он умолк, настоятельница бросила перебирать четки и сказала:

— Можете ли вы сегодня же, до наступления вечера, раздобыть крепкий железный брус?

— Для чего?

— Чтобы можно было употребить его вместо рычага.

— Да, честна€я мать, — ответил Фошлеван.

Не сказав больше ни единого слова, настоятельница встала и удалилась в соседние покои, бывшие залом заседаний капитула, где, по всей вероятности, собрались матери-изборщицы. Фошлеван остался один.

## Глава 3
## Мать Непорочность

Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и вновь села на стул.

Оба собеседника казались озабоченными. Записываем со всей тщательностью их диалог.

— Дедушка Фован!

— Да, честна€я мать?

— Знаете вы часовню?

— У меня там есть свое местечко, откуда я слушаю обедню и прочие службы.

— А заходили вы на клирос по служебным надобностям?

— Два или три раза.

— Вот в чем дело. Там надо приподнять камень.

— Тяжелый?

— Каменную плиту возле алтаря.

— Которая закрывает вход в склеп?

— Да.

— Вот случай, когда бы пригодился еще один мужчина.

— Матушка Вознесение вам поможет, она сильна, как мужчина.

— Женщина никогда не заменит мужчину.

— Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах. Только потому, что отец Мабильон приводит четыреста семнадцать посланий святого Бернара, а Мерлонус Горстиус всего триста шестьдесят семь, я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу Горстиусу.

— И я так же отношусь.

— Заслуга в том, чтобы работать сообразно со своими силами. Монастырь — не дровяной склад.

— А женщина — не мужчина. Вот брат мой, тот силен!

— А кроме того, у вас будет рычаг.

— Только такой ключ и подходит к таким — дверям.

— В плите есть кольцо.

— В него я продену рычаг.

— А плита устроена так, что можно ее повер-

нуть.

— Хорошо, честна€я мать. Я отворю склеп.

— А четыре матери-певчие вам помогут.

— И когда склеп будет отворен?..

— Тогда его придется вновь закрыть.

— И это все?

— Нет.

— Приказывайте, пречестна€я мать.

— Фован, мы доверяем вам.

— Я здесь, чтобы исполнять все приказания.

— И соблюдать молчание.

— Да, честна€я мать.

— Когда склеп будет открыт…

— То я его опять закрою.

— Но сначала…

— Что, честна€я мать?

— В него надо будет кое-что опустить.

Наступило молчание. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, затем, прервав молчание, заговорила:

— Дедушка Фован!

— Да, честна€я мать?

— Вам известно, что сегодня утром скончалась монахиня?

— Нет.

— Разве вы не слыхали колокольного звона?

— В глубине сада ничего не слышно.

— Правда?

— Я даже с трудом слышу звон, которым вызывают меня.

— Она скончалась на рассвете.

— А кроме того, ветер сегодня дул не в мою сторону.

— Преставилась матушка Распятие. Праведница.

Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву, и продолжала:

— Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, приняла истинную веру только потому, что видела, как молится мать Распятие.

— А, верно! Вот теперь я слышу похоронный звон, честнаєя мать.

— Монахини перенесли ее в покойницкую, смежную с церковью.

— Я знаю, где это.

— Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить в эту комнату. Следите за этим. Каково было бы, если бы в покойницкую проник какой-нибудь мужчина!

— Как бы не так!

— Что?

— Как бы не так!

— Что вы говорите?

— Я говорю, что как бы не так!

— Что как бы не так?

— Честная мать, я не говорю «что как бы не так!», а говорю «как бы не так!».

— Я вас не понимаю. Почему вы говорите «как бы не так»?

— Чтобы подтвердить то, что вы сказали, честна€я мать.

— Но я не говорила «как бы не так!».

— Вы этого не говорили, но я это сказал, чтобы подтвердить то, что вы сказали.

В эту минуту пробило девять часов.

— В девять часов и во всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола, — произнесла настоятельница.

— Аминь, — сказал Фошлеван.

Часы пробили очень кстати. Они пресекли это «как бы не так». Не пробей они, вполне вероятно, что настоятельница и Фошлеван никогда бы не выпутались из этого дела.

Фошлеван отер пот со лба.

Настоятельница опять что-то пробормотала про себя, наверное, из Святого Писания, потом, повысив голос, изрекла:

— При жизни матушка Распятие творила обращения; после смерти она будет творить чудеса.

— Уж она-то будет их творить! — подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице и стараясь больше не сплоховать.

— Дедушка Фован, для общины матушка Распятие была благословением божьим. Конечно, не всякому дана такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню, со словами «Hanc igitur oblationem»[16] на устах, отдал богу душу. Но, хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончина ее все же достойна зависти. Она до последней минуты была при полном сознании. Она говорила с нами, потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и если бы могли тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает в боге. Блаженная кончина!

Фошлеван решил, что настоятельница заканчивает молитву.

— Аминь, — сказал он.

— Дедушка Фован, волю умерших надо испол-

---

**[16] Примечания: 16**

«Вот это приношение» *(лат.)* — слова из католической мессы.

нять.

Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал. Она продолжала:

— По этому вопросу я справлялась у многих духовных лиц, трудившихся во Христе над подвигами монашеской жизни. Плоды их усилий удивительны.

— Честна€я мать, отсюда похоронный звон слышен много лучше, чем из сада.

— Кроме того, она больше, чем просто усопшая, она — святая.

— Как и вы, честна€я мать.

— Она двадцать лет спала в своем гробу, с особого разрешения святого нашего отца папы Пия Седьмого.

— Того самого, который короновал импе… Буонапарта.

Для такого смышленого человека, каким был Фошлеван, подобное воспоминание было неудачным. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его. Она продолжала:

— Дедушка Фован!

— Да, честна€я мать?

— Святой Диодор, архиепископ Каппадо-

кийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано единственное слово: «Acarus», что значит «червь земляной»; это было исполнено. Не так ли?

— Так, честна€я мать.

— Блаженный Меццокан, аквилийский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей; это было исполнено.

— Верно.

— Святой Теренций, епископ города Порта, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отцеубийц, надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу; это было сделано. Волю усопших следует исполнять.

— Да будет так.

— Тело Бернара Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абейль, было, как он приказал и вопреки королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев, в городе Лиможе, хотя Бернар Гвидоний был епископом испанского города Тюи. Можно ли на это что-нибудь возразить?

— Никак нет, честна€я мать.

— Этот случай засвидетельствован Плантавием

де ла Фос.

Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала:

— Дедушка Фован, матушка Распятие будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать лет.

— Это правильно.

— Это будет продолжение ее сна.

— Значит, мне придется заколотить ее в этот самый гроб?

— Да.

— А казенный гроб мы так и оставим без дела?

— Именно.

— Я к услугам пречестной общины.

— Четыре матушки-певчие вам помогут.

— Это чтобы заколотить гроб? И без них обойдусь.

— Не заколотить, а спустить.

— Куда?

— В склеп.

— В какой склеп?

— Под алтарем.

Фошлеван так и подскочил на месте.

— В склеп под алтарем!

— Под алтарем.

— Но…

— У вас будет железный брус.

— Да, но…

— Вы приподнимете плиту за кольцо, продев в него этот брус.

— Но…

— Воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем часовни, не лежать в неосвященной земле, остаться после смерти там, где молилась при жизни, — это предсмертная воля матери Распятие. Она просила нас об этом, иначе говоря, приказала.

— Но ведь это запрещено.

— Запрещено людьми, повелено богом.

— А если об этом узнают?

— Мы вам доверяем.

— Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды.

— Капитул собрался. Матери-изборщицы, с которыми я только что опять советовалась и которые продолжают еще обсуждение, решили, что матушка Распятие, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес! Как прославится во имя господа наша обитель! Из могил и исходят чудеса.

— Но, честна€я мать, а если уполномоченный

санитарной комиссии…

— Святой Бенедикт Второй расходился по вопросам погребения с Константином Погонатом.

— А полицейский пристав…

— Хонодмер, один из семи королей германских, вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, именно за монахами признал право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем.

— Но инспектор префектуры…

— Все мирское есть прах перед лицом церкви! Мартин, одиннадцатый генерал картезианцев, дал ордену своему такой девиз: «Stat crux dum volvitur orbis»[17].

— Аминь, — сказал Фошлеван, неизменно выходивший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь.

Для того, кто слишком долго молчал, годятся любые слушатели. В тот день, когда ритор Гимнасторас вышел из тюрьмы, с множеством вбитых там в него новых дилемм и силлогизмов, то, остановившись перед первым попавшимся ему по дороге деревом, он обратился к нему с

---

**[17] Примечания: 17**

«Крест стоит, пока вращается вселенная» *(лат.).*

речью и затратил огромные усилия, чтобы его убедить. Настоятельница, обычно соблюдавшая обет строгого молчания, но обуреваемая желанием высказаться, поднялась и разразилась речью с неудержимостью потока, хлынувшего в открытый шлюз.

— По правую руку мою — Бенедикт, по левую — Бернар. Кто такой Бернар? Он первый настоятель Клерво-Фонтен в Бургундии — место благословенное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, а мать Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво; в настоятели он был рукоположен епископом Шалона-на-Соне, Гильомом де Шампо. У него было семьсот послушников, он основал сто шестьдесят монастырей; он поверг во прах Абеляра на Санском соборе в тысяча сто сороковом году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались «апостольскими учениками»; он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев; в тысяча сто сорок восьмом году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де ла Поре, епископа Пуатье, осудил Зона де л'Этуаль, уладил распри между принцами, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему,

руководил монастырем Тампль, проповедовал крестовый поход, сотворил двести пятьдесят чудес в течение своей жизни, творя иногда по тридцати девяти чудес в день. Кто такой Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассини; это второй основоположник монастырских уставов, это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал сорок пап, двести кардиналов, пятьдесят патриархов, тысячу шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четырех императоров, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одну королеву, три тысячи шестьсот канонизированных святых и существует уже тысячу четыреста лет. С одной стороны, святой Бернар; с другой — уполномоченный санитарной комиссии! С одной стороны, святой Бенедикт; с другой — инспектор городских свалок! Государство, инспекция, бюро похоронных процессий, правила, администрация — какое нам до этого дело? Любой встречный был бы возмущен, если бы увидел, как с нами обходятся. Мы не имеем даже права отдавать прах наш Иисусу Христу! Ваша санитарная комиссия — это революционная выдумка. Господь, подчиненный полицейскому приставу, — вот наш век! Молчите, Фован!

Под этим ливнем слов Фошлеван чувствовал

себя не в своей тарелке. Настоятельница продолжала:

— В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных заблуждений. То, о чем следует знать, никому не ведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время находятся среди них такие, что не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром Бедных католиков, добрым священником, жившим в тринадцатом веке. А иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика Шестнадцатого на эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик Шестнадцатый был всего только королем. Убоимся же гнева господня! Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают имя Вольтера, но никто не знает имени Цезаря де Бюса. Между тем Цезарь де Бюс был блаженный, а Вольтер — просто блажной. Последний архиепископ, кардинал Перигор, не знал даже, что Шарль де Гондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн — преемником Гондрана, а Жан-Франсуа Сэно — преемником Бургуэна, а отец Сент-Март — преемником Жана-Франсуа Сэно. Все знают

имя отца Котона, но не потому, что он был одним из трех основателей Оратории, а потому, что дал предлог для бранной поговорки короля-гугенота Генриха Четвертого. Сердцу мирских людей святой Франсуа Сальский любезен потому, что он плутовал в карточной игре. А после этого нападают на религию. Почему? Потому что были дурные пастыри, потому что епископ Гапский был братом Салона, епископа Амбренского, и потому что оба они были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют. Закрывают глаза на истину. Привыкли к мраку. А самые свирепые звери — звери слепые. Никто всерьез не думает об аде. О негодный народ! «Именем короля» означает ныне «именем революции»; люди забыли свой долг и в отношении живых, и в отношении мертвых. Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев Второй написал по этому поводу два обращения — одно к Пьеру Нотеру, другое к королю вестготов, с целью оспорить и низвергнуть главенство экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Готье, епископ

Шалонский, дал по этому же поводу отпор Отону, герцогу Бургундскому. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время, в капитуле, мы имели право высказываться и по мирским делам. Аббат Сито, генерал ордена, был почетным советником в бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом Сен-Бенуа-на-Луаре, хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассини, в субботу двадцать первого марта пятьсот сорок третьего года? Все это неоспоримо. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Довольно перелистать Арну Виона, Габриэля Буселена, Тритема, Мороликуса и Люка д'Ашери, чтобы всякий согласился со мною.

Настоятельница перевела дух и обратилась к Фошлевану:

— Решено, дедушка Фован?

— Решено, честна€я мать.

— Можно на вас рассчитывать?

— Я буду повиноваться.

— Отлично.

— Я всей душой предан монастырю.

— Хорошо. Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в часовню. Там отслужат панихиду. Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи вы придете с вашим железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В часовне будут находиться только четыре матери-певчие, мать Вознесение и вы.

— А сестра, которая стоит у столба?

— Она не обернется.

— Но она услышит.

— Она не будет слушать. Кроме того, что ведомо монастырю, то неизвестно миру.

Вновь наступила пауза. Затем настоятельница продолжала:

— Вы снимете ваш бубенчик. Сестре у столба незачем знать о вашем присутствии.

— Честна€я мать!

— Что, дедушка Фован?

— А врач покойников был здесь?

— Он придет сегодня, в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона?

— Я прислушиваюсь только к своему.

— Это похвально, дедушка Фован.

— Честна€я мать, рычаг должен быть по край-

ней мере шести футов длины.

— Где же вы найдете такой?

— Там, где есть железные решетки, найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада.

— Примерно без четверти двенадцать; не забудьте же.

— Честнаєя мать!

— Что?

— Если у вас еще когда-нибудь встретится надобность в такой работе, то вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок!

— Вы сделаете все это как можно быстрее.

— Я-то не очень проворен. Я калека; потому мне бы нужен был помощник. Я хромаю.

— Хромота не недостаток, она может быть даже благодатью. У императора Генриха Второго, который ниспроверг лжепапу Григория и восстановил Бенедикта Восьмого, было два имени: «Святой» и «Хромой».

— Конечно, очень хорошо иметь два имения, — пробормотал Фошлеван, который действительно был туговат на ухо.

— Дедушка Фован, пожалуй, возьмем на все это час времени. Это не так уж много. Будьте у главного алтаря с вашим железным брусом в

одиннадцать часов ночи. Заупокойная служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было кончено по крайней мере за четверть часа до того.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко. Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я буду в часовне. Там уже будут матери-певчие. Там будет и мать Вознесение. Двое мужчин со всем этим управились бы лучше. Ну да ладно, как-нибудь! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим туда гроб и опять закроем склеп. И никаких следов! Начальство об этом и подозревать не будет. Честнaєя мать, значит, все в порядке?

— Нет.

— Что же еще?

— А пустой гроб?

Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница.

— Дедушка Фован, что же делать с гробом?

— Его понесут на кладбище.

— Пустым?

Снова молчание. Фошлеван сделал жест левой рукой, словно отмахиваясь от назойливой мысли.

— Честнaєя мать, но ведь я один заколачиваю

гроб в нижней церковной комнате, и туда, кроме меня, никто не может войти, я и накрою гроб покровом.

— Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронные дроги, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой.

— Ах, дья…! — воскликнул Фошлеван.

Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, и пристально взглянула на садовника. Окончание «вол» застряло у него в глотке.

— Честна€я мать, я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит.

— Вы правы. Земля — то же, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом?

— Я беру это на себя.

Лицо настоятельницы, до сей поры мрачное и встревоженное, прояснилось. И начальническим жестом она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступал порог, настоятельница тихонько окликнула его:

— Дедушка Фован, я вами довольна; завтра после похорон придите ко мне с вашим братом и скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.

## Глава 4,
## в которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Кастильхо

Шаг хромого похож на подмигивание кривого: они не скоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был растерян. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее возле огня. В то мгновение, когда Фошлеван входил в сторожку, Жан Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзинку садовника, говорил:

— Слушай меня хорошенько, маленькая моя Козетта. Мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на своей спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардье опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори!

Козетта серьезно кивнула головой.

На скрип отворяемой Фошлеваном двери Жан Вальжан обернулся.

— Ну как?

— Все устроено, а толку мало, — ответил Фошлеван. — Мне разрешили привести вас; но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка! С малюткой это просто.

— Вы унесете ее?

— А она будет молчать?

— Ручаюсь.

— Ну, а как же вы, дядюшка Мадлен?

После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул:

— Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!

Как и в первый раз, Жан Вальжан коротко ответил:

— Невозможно.

Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, пробурчал:

— Еще и другая вещь беспокоит меня. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу вместо тела… — нет, тут не обманешь, ничего не выйдет, она будет передвигаться, пересыпаться. Носильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается.

Жан Вальжан пристально поглядел на него и

подумал, что он бредит.

Фошлеван продолжал:

— Но как же вам, дья… шут его возьми, выйти отсюда? Главное, все это надо уладить до завтрашнего дня! Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать.

И он объяснил Жану Вальжану, что это было вознаграждением за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине: что в круг его обязанностей входит участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище; что умершая сегодня утром монахиня завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем, и похоронить в склепе под алтарем часовни; что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых перечить нельзя; что поэтому мать-настоятельница и прочие монахини намеревались исполнить волю усопшей; что тем хуже для правительства; что он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в часовне плиту и опустит усопшую в склеп; что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь его брата садовником, а племянницу воспитанницей; что его брат — это он, г-н Мадлен, а племянница — Козетта; что

настоятельница приказала привести к ней брата на следующий день вечером, после мнимых похорон на кладбище; что он не может привести в монастырь г-на Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря; что в этом заключается первое затруднение; что, наконец, есть и другое затруднение — пустой гроб.

— Какой такой пустой гроб? — спросил Жан Вальжан.

— Казенный гроб.

— Почему гроб? И почему казенный?

— Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии, потом он говорит: «Умерла монахиня». Городское начальство присылает гроб. Назавтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти его на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри — ничего.

— Так положите в него что-нибудь.

— Покойника? Его у меня нет.

— Нет, не покойника.

— А кого?

— Живого.

— Какого живого?

— Меня, — сказал Жан Вальжан. Фошлеван вскочил с места так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда.

— Вас?

— А почему бы нет?

И Жан Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, походившей на солнечный луч на зимнем небе.

— Помните, Фошлеван, вы сказали: «Матушка Распятие скончалась», и я добавил: «А дядюшка Мадлен погребен». Так оно и будет.

— Ну, ну, вы шутите, вы это не всерьез говорите!

— Очень даже всерьез. Выйти отсюда надо?

— Ну конечно.

— Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня?

— Ну, говорили.

— Корзина будет сосновая, а чехол из черного сукна.

— Во-первых, белого сукна. Монахинь хоронят в белом.

— Пусть будет белое.

— Вы не похожи на других людей, дядюшка Мадлен.

Увидеть, как подобная игра воображения, являющаяся лишь примером дикарской и смелой изобретательности каторги, возникает среди окружающей его мирной обстановки и пося-

гает на то, что он именовал «житьем-бытьем монастырским», было для Фошлевана так же необычайно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени.

Жан Вальжан продолжал:

— Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным. А это и есть такой способ. Но раньше расскажите мне подробности. Как это происходит? Где гроб?

— Пустой гроб?

— Да.

— Внизу, в комнате, которую называют покойницкой. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом.

— Какова длина гроба?

— Шесть футов.

— А какая она, эта покойницкая?

— Это комната в нижнем этаже; в ней есть окно с решеткой, которое выходит в сад и закрывается снаружи ставнями, да двое дверей — одна в монастырь, другая — в церковь.

— В какую церковь?

— В церковь, что на этой улице, в общую церковь.

— У вас есть ключи от этих двух дверей?

— Нет. У меня ключ от двери, ведущей в монастырь; а ключ от двери в церковь у привратника.

— А когда привратник отворяет эту дверь?

— Когда приходят факельщики за гробом. Как вынесут гроб, так сейчас дверь и запирается.

— А кто заколачивает гроб?

— Я.

— Кто накладывает погребальный покров?

— Я.

— Вы бываете один в это время?

— Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.

— Могли бы вы сегодня ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате?

— Нет. Но я могу вас спрятать в темной маленькой каморке рядом с покойницкой, я там держу мои инструменты для погребения, я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее.

— В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?

— В три часа пополудни. Хоронят на кладбище Вожирар, когда свечереет. Кладбище довольно далеко отсюда.

— Я спрячусь в вашей каморке с инструментами на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой?

Ведь я проголодаюсь.

— Я принесу вам что-нибудь.

— Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи.

Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами.

— Это невозможно!

— Ба! Трудно ли взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски!

То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, познал искусство уменьшаться в соответствии с выходом, ведущим на волю. Заключенный так же неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение — это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь! Дать себя заколотить в ящик и унести, как тюк с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет, часами сберегать дыхание, уметь задыхаться, не умирая, — вот один из мрачных талантов Жана Вальжана.

Впрочем, эта уловка каторжника — гроб, в который ложится живое существо, — была также и уловкой короля. Если верить монаху Остену

Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать г-жу Пломб, прибегнул после своего отречения Карл Пятый, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста и затем вывести оттуда.

Придя немного в себя, Фошлеван воскликнул:

— Но как же вы будете дышать там?

— Уж как-нибудь буду.

— В этом ящике! Только подумаю об этом, и я уже задыхаюсь.

— У вас, конечно, найдется буравчик, вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а верхнюю доску приколотите не слишком плотно.

— Ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть?

— Тот, кто спасается бегством, не кашляет и не чихает.

И Жан Вальжан добавил:

— Дедушка Фошлеван, необходимо решиться: дать себя захватить здесь, или выехать отсюда на погребальных дрогах.

Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться меж ее двух створок. Кто из нас не говорил кошке: «Ну, входи же!» Есть люди, которые, попав в неопределенное положение, так же склонны колебаться

между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них всякий выход. Слишком осторожные, при всех их кошачьих свойствах и именно благодаря им, иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Фошлеван и был человеком такого нерешительного склада. Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покоряло его. Он пробормотал:

— И вправду, другого тут средства не найдешь.

Жан Вальжан продолжал:

— Одно только меня беспокоит, как все это пройдет на кладбище.

— А вот это меня как раз и не тревожит! — воскликнул Фошлеван. — Если вы уверены в том, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Могильщик тамошний — пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метьен. Старый пропойца. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как оно все будет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек, за три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот. Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом; это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики

обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой — и поминай как звали. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метьеном. Повторяю, он мой приятель. Одно из двух: или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему: «Идем выпьем по стаканчику, пока не заперли «Спелую айву». Я его увожу, угощаю, — а дядюшку Метьена напоить недолго, он и так-то всегда под мухой, — потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы уже имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему: «Ступай себе, я сам все за тебя сделаю». Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы.

Жан Вальжан протянул ему руку, Фошлеван схватил ее с трогательной сердечностью крестьянина.

— Договорились, дедушка Фошлеван. Все будет хорошо!

«Только бы прошло гладко, — подумал Фошлеван. — А вдруг какая беда стрясется!»

## Глава 5
## Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным

Назавтра сильно поредевшие к вечеру прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дрогах стоял гроб под белым покровом, на котором виднелся большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала парадная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в стихаре и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в серой одежде с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромой старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожирар.

Из кармана рабочего высовывались ручка молотка, лезвие простого долота и концы клещей.

Кладбище Вожирар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были

свои особые порядки, были свои ворота и своя калитка, которые у старожилов квартала, придерживающихся старинных наименований, назывались воротами для всадников и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером и в отдельном углу кладбища, так как этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались при закате солнца, а так как приказ этот исходил от городского управления, он распространялся и на кладбище Вожирар. Ворота для всадников и ворота для пешеходов решетками своими соприкасались с двух сторон с павильоном работы архитектора Перроне, в котором жил кладбищенский привратник. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол Инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда: предъявить свой пропуск, выданный ему

бюро похоронных процессий. В ставню окна привратницкой вделано было нечто вроде почтового ящика. Могильщик бросал туда свой пропуск, привратник слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов отворялись. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда привратник, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и отпирал ключом ворота; могильщик выходил, уплачивая, однако, пятнадцать франков штрафа.

Это кладбище, со всеми его особенностями, выходящими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожирар закрыли. На его месте возникло кладбище Мон-Парнас, унаследовавшее заодно и граничивший с кладбищем Вожирар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованной на доске айвой. Он стоял под углом к столикам посетителей одной своей стороной, а к могилам — другой. На вывеске его значилось: «Под спелой айвой».

Кладбище Вожирар, что называется, отмирало. Им переставали пользоваться. Его завоевывала плесень, цветы покидали его. Буржуа не стремились быть похороненными на кладбище Вожирар; это говорило бы о бедности. Кладбище

Пер-Лашез — дело другое! Покоиться на кладбище Пер-Лашез — все равно что иметь обстановку красного дерева. В этом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожирар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенное оградой, было уголком, который внушал чувство почтения. Прямые аллеи, буксы, туи, остролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава. Вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась мрачная печаль.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, появился на аллее, ведущей к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим мимоходом, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые походят на выполнение долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их сове-

сти. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, — вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего монастырский устав; что же касается закона — там видно будет. Люди, сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю — всегда лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял вслед за колесницей. Его два тесно связанных друг с другом заговора — один с монахинями, другой с г-ном Мадленом, один — в интересах монастыря, другой — в ущерб этим интересам, — удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана была сродни тому нерушимому спокойствию, которое сообщается и другим. Фошлеван больше не сомневался в успехе. То, что теперь оставалось сделать, было пустяком. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца, этого дядюшку Метьена. Он делал с ним что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал

всякому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

В ту минуту, когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:

— Вот так комедия!

Внезапно катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры с кладбищенским привратником. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

— Вы кто будете? — спросил он.

Человек ответил:

— Могильщик.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как у Фошлевана в эту минуту.

— Могильщик?

— Да.

— Вы?

— Я.

— Могильщиком работает здесь дядюшка Метьен.

— Работал.

— Как это работал?

— Он умер.

Фошлеван приготовился к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем это так; могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою собственную.

Фошлеван остолбенел. Он насилу пролепетал, заикаясь:

— Не может этого быть!

— Это так.

— Но, — слабо возразил Фошлеван, — могильщик — это же дядюшка Метьен.

— После Наполеона — Людовик Восемнадцатый. После Метьена — Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина.

Весь побледнев, Фошлеван всматривался в этого Грибье.

То был высокий, тощий, землисто-бледный, весьма мрачный человек. Он походил на неудачливого врача, который взялся за работу могиль-

щика.

Фошлеван расхохотался.

— Ну что за потешные вещи случаются на свете! Дядя Метьен умер. Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. А! Он умер, старина Метьен! Да, жаль; он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Не правда ли, приятель? Мы сейчас отправимся вместе пропустить стаканчик.

Человек ответил:

— Я получил образование. Я окончил четыре класса. Я никогда не пью.

Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатили по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаги. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван принялся снова оглядывать этого свалившегося с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень

сильны.

— Приятель! — окликнул его Фошлеван.

Человек обернулся.

— Я могильщик из монастыря.

— Мой коллега, — ответил человек.

Фошлеван, хотя и малограмотный, но очень проницательный малый, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

Он проворчал:

— Значит, дядюшка Метьен умер.

Человек ответил:

— Окончательно. Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.

Фошлеван повторил машинально:

— Господь бог…

— Да, господь бог, — внушительно заявил человек. — Для философов он — отец предвечный; для якобинцев — верховное существо.

— Разве мы не познакомимся с вами поближе? — пролепетал Фошлеван.

— Мы уже это сделали. Вы деревенщина, я парижанин.

— Пока не выпьешь вместе — по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку,

раскупоришь и душу. Идем выпьем. От этого не отказываются.

— Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», — подумал Фошлеван.

До маленькой аллейки, ведущей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось всего лишь несколько шагов.

Могильщик заговорил снова:

— Деревенщина, у меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

И с удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

— Их голод — враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули купу кипарисов, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав прямо по траве, они углубились в чащу деревьев. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свои шаги, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая и размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла их ход.

Он приблизился к могильщику.

— Там есть такое отличное аржантейльское вино, — прошептал он.

— Поселянин, — снова заговорил человек, — мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Пританэ. Он предназначал меня к литературной карьере. Но на него свалились всякие несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Однако я и сейчас работаю общественным писцом.

— Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту, столь хрупкую, веточку.

— Одно не мешает другому. Я совмещаю.

Фошлеван не понял последнего слова.

— Идем выпьем, — сказал он.

Тут необходимо сделать замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, насчет одного пункта умалчивал, а именно: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник преднамеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Что касается его самого, Фошлевана, то, несмотря на все свое волнение, он и не думал раскоше-

ливаться.

Могильщик продолжал, высокомерно улыбаясь:

— Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. Когда получаешь почти законченное образование, становишься философом. К работе пером я добавил работу заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы его знаете? На Зонтичном рынке. Все кухарки из госпиталей Красного Креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам — копаю могилы. Такова-то жизнь, селянин!

Похоронные дроги подвигались вперед. Фошлеван, тревога которого дошла до последнего предела, озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

— А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел маленький певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка слегка за-

дело кучку земли, по другую сторону которой виднелась отверстая могила.

— Вот так комедия! — растерянно повторил Фошлеван.

## Глава 6
## Меж четырех досок

Кто лежал в гробу? Мы знаем. Жан Вальжан. Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было пусть с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойствия совести зависит спокойствие человека вообще. Вся затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя вообразить положение более критическое; нельзя вообразить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло каким-то умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины этого гроба он мог следить, и сле-

дил, за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. По более редким толчкам он почувствовал, что с мостовой съехали на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжает Аустерлицкий мост. При первой остановке он понял, что подъехали к кладбищу; при второй он сказал себе: «Вот могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподнят руками, потом послышалось какое-то резкое трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Затем у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик покачнули гроб и опустили его вниз изголовьем. Жан Вальжан пришел окончательно в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий торжественный голос раздался над ним. Он услыхал, как медленно — так медленно, что он мог уловить каждое из них, — над ним

произносились латинские слова, которых он не понимал:

«Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper»[18].

И детский голос ответил:

«De profundis»[19].

Суровый голос продолжал:

«Requiem aeternam dona ei, Domine»[20].

Детский голос ответил:

«Et lux perpetua luceat ei»[21].

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

Он подумал: «Это должно скоро кончиться! Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

---

**[18] Примечания: 18**

«Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение; пусть всегда это помнят» *(лат.).*

**[19] Примечания: 19**

«Из глубины» *(лат.).*

**[20] Примечания: 20**

«Вечный покой даруй ему, Господи» *(лат.).*

**[21] Примечания: 21**

«И да светит ему вечный свет» *(лат.).*

Суровый голос возгласил вновь:

«Requiescat in pace»[22].

И детский голос ответил:

«Amen»[23].

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил нечто вроде звука удаляющихся шагов.

«Вот они и уходят, — подумал он, — я один».

Вдруг он услыхал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавшей на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые он дышал, забилось землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Есть вещи, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

## Глава 7,

---

**[22] Примечания: 22**
«Да почиет в мире» *(лат.).*

**[23] Примечания: 23**
Аминь *(лат.).*

## из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и маленький певчий уселись в траурную карету и отъехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Тогда Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

— Я плачу€!

Могильщик удивленно взглянул на него.

— Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

— Я плачу€!

— За что?

— За вино.

— Какое вино?

— Аржантейльское.

— Где оно, твое аржантейльское?

— В «Спелой айве».

— Пошел к черту! — выругался могильщик.

И сбросил в могилу лопату земли.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

— Приятель, поторопимся же, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик снова набрал на лопату земли. Фошлеван продолжал:

— Я плачу€!

И он схватил могильщика за локоть.

— Послушайте-ка, приятель. Я монастырский могильщик, я пришел подсобить вам. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем глотнем стаканчик.

И, продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал над следующим: «А вдруг он и выпьет, да не охмелеет?»

— Провинциал, если вам так этого хочется, я согласен, — сказал могильщик. — Выпьем. Но после работы, никак не раньше.

И он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

— Это аржантейльское вино, по шесть су которое!

— Ах, вы, звонарь! — сказал могильщик. —

Динь-дон, динь-дон, только одно и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И он сбросил вторую лопату земли.

Фошлеван дошел до такого состояния, что сам уже не понимал, что говорит:

— Да идемте же выпьем, — крикнул он, — ведь платить-то буду я!

— После того как уложим ребенка спать, — ответил могильщик.

И он сбросил третью лопату земли.

Затем, воткнув ее в землю, он добавил:

— Видите ли, сегодня ночью будет холодно, и покойница начнет звать нас, если мы бросим ее здесь без одеяла.

В это мгновение, набирая лопатой землю, могильщик нагнулся, и карман его блузы раскрылся.

Блуждающий взгляд Фошлевана случайно упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; было достаточно светло, чтобы можно было разглядеть в глубине этого кармана что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули так ярко, насколько это мыслимо для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенила одна мысль.

Осторожно, чтобы могильщик, занятый лопа-

той, ничего не заметил, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил из этого кармана лежавший в нем белый предмет.

Могильщик сбросил в могилу четвертую лопату земли.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую, Фошлеван, взглянув на него с самым невозмутимым видом, сказал:

— Кстати, новичок, а пропуск у вас при себе?

Могильщик остановился.

— Какой пропуск?

— Но ведь солнце-то заходит.

— Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

— Сейчас запрут кладбищенскую решетку.

— И что же дальше?

— А пропуск у вас при себе?

— Ах, пропуск! — понял могильщик.

И стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

— Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска... Должно быть, забыл его дома.

— Пятнадцать франков штрафу, — заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

— О-Иисусе-Христе-сверни-шею-луне! — воскликнул он. — Пятнадцать франков штрафу!

— Три монеты по сто су, — уточнил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

— Ну, ну, юнец, — сказал Фошлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков — это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не уплачивать. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно: солнце заходит, оно достигло уже купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

— Это верно, — ответил могильщик.

— За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут решетку.

— Правильно.

— В таком случае, с вас пятнадцать франков штрафу.

— Пятнадцать франков!

— Но время не потеряно… Где вы живете?

— В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

— Время не потеряно, если вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

— Это точно.

— Как только вы окажетесь за воротами, вы мчитесь домой, хватаете ваш пропуск, бежите обратно, привратник впускает вас. А раз у вас будет пропуск, ничего платить не придется. И тогда уже вы зароете вашего покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

— Я обязан вам жизнью, провинциал.

— Убирайтесь-ка поскорей, — сказал Фошлеван.

Вне себя от радости, могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся в чаще деревьев и последний звук его шагов замер, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

— Дядюшка Мадлен.

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а прямо скатился в могилу, припал к изголовью гроба и закричал:

— Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал верхнюю доску у крышки гроба. В сумеречном свете перед ним появилось лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы на голове встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан лежал недвижимо, мертвенно-бледный.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

— Он умер!

И, снова выпрямившись, он так яростно скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

— Так вот как я спас его! — вскричал он.

Бедняга принялся всхлипывать и разговаривать с самим собой. Ошибочно думать, что монолог не свойственен человеческой природе. Сильное волнение нередко говорит о себе во всеуслышание.

— В этом виноват дядюшка Метьен, — причитал он. — С какой стати он умер, этот дуралей?

Ну зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ждал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен! Вот он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка, что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, возможно ли это? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я ведь говорил. Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка для-ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я остаюсь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было двум старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться двумя старыми дураками. Как же он все-таки попал в монастырь? С этого и началось. Не следует проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Он не слышит. Ну попробуйте-ка теперь из этого выкрутиться!

И он стал рвать на себе волосы.

Издали из-за деревьев послышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенскую решетку.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном и вдруг подскочил и отшатнулся назад, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты, и они смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение — почти так же жутко. Фошлеван точно окаменел: бледный, растерянный, потрясенный всеми этими чрезмерными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

— Я уснул, — сказал Жан Вальжан.

И он привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

— Пресвятая дева! Ну и напугали вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

— Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в сознание.

Радость — это отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

— Так вы не умерли! Ну, до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, то я сказал себе: «Так, ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого

надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Ну что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы, вот счастье-то!

— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти двое людей, даже придя в себя, продолжали, сами того не понимая, испытывать душевное смятение, в них говорило какое-то необычайное чувство, порожденное мрачной затерянностью этого места.

— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

— Но сначала хлебните водочки, — сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и вполне овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Впрочем, Фошлеван был спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал свой пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

— Идем. Я беру лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В этом гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

— Вы окоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они направились теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертой

решетки и павильона привратника, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, привратник дернул за шнур, дверь открылась, и они вышли.

— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.

Они спокойно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

— Дядюшка Мадлен, — сказал Фошлеван, подвигаясь вперед и всматриваясь в дома, — вы видите лучше моего. Покажите-ка мне, где номер восемьдесят седьмой?

— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.

— На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите здесь минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верхний этаж, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и постучался в темноте в дверь мансарды. Чей-то голос ответил:

— Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все эти убогие жилища, представляла собою лишенную мебели тесную каморку. Какой-то ящик для упаковки товара — может быть, и гроб — служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и несколько детей. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло какое-то «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты с места, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было очевидно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая свой пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, — от кружки до своей жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Но Фошлеван слишком торопился к развязке приключения, чтобы обращать внимание на печальную сторону своего успеха.

Войдя, он заявил:

— Я принес вам ваши заступ и лопату.

Грибье изумленно взглянул на него.

— Это вы, поселянин?

— А завтра утром у кладбищенского привратника вы получите ваш пропуск.

И он положил на пол лопату и заступ.

— Что это значит? — спросил Грибье.

— Это значит, что вы выронили из кармана ваш пропуск, что, когда вы ушли, я его нашел на земле, что я похоронил покойницу, что я засыпал могилу, что я выполнил вашу работу, что привратник вернет вам ваш пропуск и что вы не будете платить пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

— Благодарю, провинциал! — вскричал восхищенный Грибье. — В следующий раз за выпивку плачу я!

## Глава 8
## Удачный допрос

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал.

Это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.

Оба старика зашли за Козеттой к торговке фрук-

тами на улицу Зеленая дорога, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица задавала ей тысячу вопросов, получая в ответ лишь все тот же угрюмый взгляд. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение этих двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Впрочем, лучше всех хранят тайну дети.

Но когда после этих мрачных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что, услышь его человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье спасения из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним открылись.

Так была разрешена двойная и страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер маленькую служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз против входных ворот. Привратник впустил всех троих через эту калитку, и они дошли до той внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек единственной свечи освещал, вернее, силился осветить приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Всего зорче — взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

— Вы его брат?

— Да, честна€я мать, — ответил Фошлеван.

— Ваше имя?

Фошлеван ответил:

— Ультим Фошлеван.

У него действительно был когда-то брат Ультим, давно умерший.

— Откуда вы родом?

Фошлеван ответил:

— Из Пикиньи, близ Амьена.

— Сколько вам лет?

Фошлеван ответил:

— Пятьдесят.

— Какова ваша профессия?

Фошлеван ответил:

— Садовник.

— Добрый ли вы христианин?

Фошлеван ответил:

— В нашей семье все добрые христиане.

— Это ваша малютка?

Фошлеван ответил:

— Да, честна€я мать.

— Вы ее отец?

Фошлеван ответил:

— Я ее дедушка.

Мать-изборщица заметила настоятельнице вполголоса:

— Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и тихонько сказала матери-изборщице:

— Она будет дурнушкой.

Обе монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и

проговорила:

— Дедушка Фован, вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду уже раздавался звон двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушения приподнять кончик своего покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то другой. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено до такой степени, что монахини даже стали сообщать друг другу: «Это помощник садовника».

А матери-изборщицы присовокупляли: «Это брат дедушки Фована».

Действительно, Жан Вальжан вступил в должность согласно всем правилам; у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Его звали Ультим Фошлеван.

Решающей причиной согласия принять его на службу явилось соображение настоятельницы относительно Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас же почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в

монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность; поэтому девушки, сознающие свою красоту, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда и вытекает живой интерес к дурнушкам.

Все это происшествие возвеличило добряка Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах монастырской обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матушки Распятие под своим алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб — на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был серьезно подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была очень велика. Фошлеван стал считаться лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. При ближайшем же посещении монастыря архиепископом настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как будто бы и каясь слегка,

но вместе с тем и похваляясь. Архиепископ, покинув монастырь, с одобрением шепнул об этом г-ну де Латилю, духовнику его высочества, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. На этом слава Фошлевана не остановилась, она дошла и до самого Рима. Мы собственными глазами видели записку папы Льва XII, адресованную к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию делла Женга; в ней можно прочесть следующие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода дынные грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в «Illustrated London News»[24], со следующей подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

---

**[24] Примечания: 24**

«Иллюстрированные лондонские новости» *(англ.).*

## Глава 9
## Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать. Козетта, что было вполне естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Но ничего не зная, она ничего и не могла рассказать, а если б и знала, все равно никому не сказала бы. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, — мы недавно упомянули об этом. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. Довольно быстро освоилась она с монастырем. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Сделавшись воспитанницей монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерок. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали сброшенную ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он переодел ее,

когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платьице вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в маленький чемодан, который умудрился себе раздобыть, пересыпав все камфорой и благовонными веществами, столь распространенными в монастырях. Этот чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него всегда носил при себе. «Отец, — однажды спросила его Козетта, — что это за ящик, который так хорошо пахнет?»

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая сильное пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали хотя бы долей проницательности Жавера, то заметили бы в конце концов, что всякий раз, когда приходилось отправляться за пределы монастыря по каким-

нибудь надобностям, касающимся садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромой Фошлеван-старший, а другой — никогда. Но потому ли, что взор, всегда устремленный к богу, не умеет шпионить, потому ли, что монахини предпочтительно были заняты тем, что следили друг за другом, они на это не обращали внимания.

Впрочем, счастье Жана Вальжана, что он оставался в тени, нигде не показываясь. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Этот монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Отныне эти четыре стены представляли для него вселенную. Там он мог видеть небо — этого было достаточно для душевного спокойствия, и Козетту — этого было достаточно для счастья.

Для него вновь началась жизнь, полная отрады.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. Этот домишко, построенный из всяких строительных отходов и еще существовавший в 1845 году, состоял, как известно, из трех совершенно пустых, с голыми стенами, комнат. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, кроме

двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим.

КАТОЛИЧЕСКАЯ
Именем короля
Равноценно десяти ливрам.
За предметы, поставляемые
армии.
Подлежит оплате по установлении мира.
серия 3
№ 10390
Стоффле
И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ

Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого и заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он воспользовался ими. Почти все

деревья в саду одичали; он привил их, и они вновь стали приносить превосходные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Так как сестры были всегда мрачны, а он приветлив, то ребенок, сравнивая его с ними, обожал его. В определенный час девочка прибегала в сторожку. С ее приходом там воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье возрастает от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

Ибо Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное свое выражение. Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица.

Когда по окончании рекреации Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало

которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с прочими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в те времена, которые можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, — отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их

между собою.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бескрайней винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал былых своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до глубокой ночи; им едва оставалось время для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; одеты они были в красные, ужасные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особо тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили, не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклейменные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

И эти существа также были острижены, жили также не поднимая глаз, не повышая голоса, и если не позор был их уделом, то людские насмешки, если спина их не была изранена палкой, то плечи

истерзаны бичеванием. Их имена были также утрачены для мира; существовали они лишь под суровым условным прозвищем. Никогда не вкушали они мяса, никогда не пили вина; часто до самого вечера ничего не ели; одеты они были не в красные куртки, а в шерстяной черный саван, слишком тяжелый для лета, слишком легкий для зимы, и не имели права ничего от своей одежды убавить и ничего к ней добавить; не имели даже, в зависимости от времени года, ни холщового одеяния, ни шерстяной верхней одежды в запасе; и шесть месяцев в году они носили грубую шерстяную сорочку, от которой их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец им даже не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, изнеможенные, они, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной часовни.

Бывали дни, когда каждое из этих созданий обязано было, поочередно, двенадцать часов подряд стоять коленопреклоненным на каменных

плитах пола или лежать, распростершись ниц на земле, крестом раскинув руки.

Те существа были мужчины; эти — были женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были бандиты, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там — разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, человекоубийство, все виды кощунства, все разнообразие преступлений; здесь же — только невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая к небу своею святостью.

Там — признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь — исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там — миазмы, здесь — благоухание. Там — нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных; здесь — чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там —

мрак, здесь — тень; но тень, полная озарений, и озарения, полные лучезарного света.

Одно и другое — места рабства; но в первом — возможность освобождения, предел, всегда предопределенный законом, наконец, побег. Во втором — рабство пожизненное; единственная надежда — и лишь в самом отдаленном будущем — тот брезжущий луч свободы, который люди называют смертью.

К первому прикованы лишь цепями; ко второму прикованы своей верой.

Что исходит из первого? Неслыханные проклятия, скрежет зубовный, ненависть, отчаявшаяся злоба, яростный вопль против человеческого общества, хула на небеса.

Что исходит из второго? Благословение и любовь.

И вот в этих столь схожих и столь различных местах два вида существ, столь разных, совершали одно и то же дело — искупление.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, — искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупления чужих грехов, взятого на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего?

Какое искупление?»

И голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия — искупление чужих грехов».

Собственное наше мнение по этому поводу мы оставляем про себя, ибо являемся здесь лишь рассказчиком; мы просто становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, высочайшая вершина возможной добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, о котором взывают души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он осмеливался еще роптать!

Нередко он вставал среди ночи, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод

пробегал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто был наказан справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства, и что он, несчастный, тоже восставал когда-то против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоленные ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение — все усилия, совершенные им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это судьбы его? Он глубоко размышлял над этим, словно внимая тихому, предупреждающему голосу самого провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, однако никогда он не мог себе представить ничего подобного.

Он увидел вновь решетки, замки, железные засовы; кого же должны были они стеречь? Ангелов.

Он видел некогда, как эти высокие стены окружали тигров; теперь он видит их опять, но вокруг овечек.

Это было место искупления, а не наказания;

между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то, другое. Эти девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, — ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал над этим, то все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.

При подобных размышлениях гордость исчезает. Он со всех сторон разбирал себя и, осознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение этих шести месяцев, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта — путем любви, монастырь — путем смирения.

Порой, по вечерам, в сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, что возле часовни, стоящим на коленях под тем окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, и повернувшимся в ту сторону, где, как он знал, лежала распростертой в искупительной молитве сестра-монахиня. И он молился, коленопреклоненный перед нею.

Казалось, перед богом он не осмеливается преклонить колена.

Все, что окружало его, — этот мирный сад, эти благоухающие цветы, эти дети, эти радостные возгласы, эти серьезные и простые женщины, этот тихий монастырь, — медленно овладевало им, и постепенно в душу его проникли тишина этого монастыря, благоухание этих цветов, мир этого сада, простота этих женщин, радость этих детей. И он думал, что то были два божьих дома, один вслед за другим приютивших его в роковые минуты его жизни: первый — когда все двери были закрыты для него и человеческое общество оттолкнуло его; второй — когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь открывалась перед ним каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Так протекло много лет; Козетта подрастала.